

И
Л

Томас Вулф

Портрет
Баскома
Хока

Томас Вулф · Портрет Баскома Хока





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Thomas Wolfe

Томас Вулф

Портрет Баскома Хока

Повесть
Рассказы

Перевод с английского

*Составление и предисловие
М. Ландора*

Москва
«Известия»
1987

И (Амер)
В 88

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент А. Зверев

Обложка художника А. Панина

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык, кроме рассказов, отмеченных знаком *, издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1987

Сжатая проза Вулфа

«Хорошо, сильно» — так записал в дневнике Томас Манн в апреле 1937-го, читая на борту океанского лайнера роман Вулфа «Взгляни на дом свой, Ангел». А осенью 1941-го, посетив Северную Каролину, он тепло говорил о Вулфе — уроженце этого штата. В газете «Гринсборо рикорд» появилось замечание автора «Будденброков»: «Это был у вас в Америке один из самых сильных голосов...»

И в поздние годы, когда Т. Манна спрашивали о новой американской прозе, влиятельной в Европе, он называл Вулфа среди больших ее талантов, вслед за Хемингуэем и Фолкнером. Он, кажется, и непосредственно имел в виду «Ангела», отметив столь близкое себе у самых разных мастеров этого поколения: весьма критический подход американцев к их миру — и «безусловную правдивость» в его изображении.

Конечно, и в Америке, при жизни Вулфа и после его раннего ухода, были люди, по достоинству ценившие его прозу. Но и журнальная, и «академическая» критика не склонна была вспоминать о нем, говоря о поколении Хемингуэя. И многим казалось невыносимым рассматривать их в одном ряду: мастер лаконизма — и Вулф, чей бесконечный роман-поток часто объявляли «громоздким» по преимуществу.

Этому замшелому критическому стереотипу и бросил вызов Фолкнер, провозгласив Вулфа первым писателем поколения — по творческой дерзости. Вулф, повторяя Фолкнер, стремился в концентрированном виде ввести в литературу «весь человеческий опыт». И если считать, что каждый в поколении потерпел поражение, то поражение писателя с заведомо непосильной задачей было самым блестящим. А Вулф «старался ввести в свои книги всю вселенную».

Эти мысли Фолкнер развивал настойчиво, из года в год, и в них было, разумеется, нечто программное для него самого как художника. И в то же время эти выступления готовили «возрождение» прозы Вулфа, которое произошло в 60-е, и стали неотделимы от современного прочтения его книг. Мало того. Суждения Фолкнера, острые и вовсе не однозначные, вмешиваются и в нынешние споры о Вулфе, не утихшие, когда автора «Ангела» признали классиком.

Но пора сказать о «вселенной» Вулфа, какой она предстает в прозе ровесника века, прожившего неполных тридцать восемь лет.

Его мир кажется не просто широким, а неисчерпаемым. Собственно, тут три разных мира, постоянно взаимодействующих и получающих резкость от этих сопоставлений. Это провинция; потом Нью-Йорк; потом Старый Свет. Все они принадлежат одной Книге (что точно уловил Фолкнер): Вулф глубоко пережил ее и яростно стремился перенести на бумагу.

Фигуры отца-камнереза, с его мастерской на городской площади, и матери, с ее пансионом, глубоко разработаны в «Ангеле». Но обе эти фигуры, или характеры-эмблемы, идут через всю прозу Вулфа: за ними сыну-писателю видится череда американских поколений. И само детство и отрочество автобиографического героя, как будто навсегда закрепленное в «Ангеле», иначе узнается и переживается в прозе Вулфа 30-х годов.

После Эшвилла — тихого городка в горах — и университета штата в жизни Вулфа был Гарвард и потом Нью-Йорк. Поразивший молодого провинциала мегалополис предстал в его прозе во многих ракурсах и поворотах. Стойкой оказалась юношеская мечта о «Золотом Городе», но и реальный «миллионостопый» город открылся Вулфу с изнанки, как мало кому из старожилов. В 20-е он преподавал в Нью-йоркском университете, где его студенты были из бедных иммигрантских семей, а в 30-е поселился в Бруклине, среди тех же иммигрантов, — пережив пору кризиса на этих задворках города.

И старая Европа, которую Вулф исколесил. Она приближала к нему «дом»: в парижском кафе возвращались мелочи пережитого, «Ангела» он писал в Англии. Он вглядывался в лица, и мимолетная встреча во Франции или Германии порою оборачивалась для него настоящей новеллой. И его всегда ждала здесь встреча с современной историей, что и случилось во время поездки Вулфа в Берлин на Олимпийские игры 1936 года.

Впрочем, это могло случиться и ближе к дому. Не одна дата вошла уже в его жизнь и писательскую биографию. У Вулфа есть очерк «Лицо войны» — жестокая панорама жизни Юга на исходе мировой бойни, в 1918-м. Он постоянно возвращался к 1929-му, году биржевого краха, началу мирового кризиса: для него эта дата означала необратимую перемену — и в Америке ничто не вернет уже буржуазному строю прежнего «векового» ореола. А в 1936-м Вулфу открылось, что любимая им Германия, романтическая страна отцов, стала при Гитлере страной страха, — и он напечатал в журнале «Нью рипаблик» повесть о недавно виденном, «Хочу вам кое-что сказать», это было сильное обвинение фашизму.

Да, мы видим: мир Вулфа един — и открыт XX веку. У писателя был не один циклопический план Книги в стольких-то томах, вмещающий всю историю автобиографического героя от дальних американских истоков до событий вчерашнего дня. Осуществить такой план Вулфу не было дано. Но и тот эпический цикл, что успел сложиться за недолгие годы его работы, остается впечатляющим.

История Юджина Ганта, начатая в «Ангеле» (1929), продолжена в романе «О Времени и о Реке» (1935): эти книги отразили первую четверть века жизни автора, включая и Нью-йоркский университет, и знакомство с Европой. Еще два тома были изданы посмертно: «Паутина и скала» (1939) и «Домой возврата нет» (1940). Годы кризиса изменили автора — и ему потребовался новый герой, без романтических претензий Ганта, которые стали претить Вулфу. И рассказ об этом герое, Джордже Уэббере, он начал за-

ново, захватив на этот раз и биржевой крах, и 30-е годы в Америке. К этим четырем романам примыкают два тома малой прозы — сборник «От смерти к заре» (1935), составленный самим Вулфом, и другой, изданный посмертно, «Там, за холмами» (1941).

Известно, какую исключительную роль в литературной судьбе Вулфа играли преданные ему редакторы: сначала его старший друг Максвелл Перкинс, а потом друг-сверстник Эдуард Эсуэлл. Работа автора с редактором над «Ангелом» длилась почти год, над вторым романом, который Вулф посвятил Перкинсу, куда больше. Опытный Перкинс, редактор и Фицджеральда и Хемингуэя, отлично чувствовал замысел и самую плоть прозы южанина; его точные суждения — где в рукописи пустоты, а где явный ущерб терпит целое — помогли сложиться свободной форме этих романов. Эсуэлл же готовил к печати рукопись «в миллион слов» уже без автора; и ему пришлось не только выбирать между вариантами, сокращать и монтировать, но и писать связки в стиле Вулфа. Так, а не иначе и появились два последних романа. Но и Эсуэлла поражало в ходе подготовки рукописи, как продуманна эта проза: ее завершённые части, разделённые годами, удивительно подошли друг к другу. Редакторы были достойны романиста, которому помогли предстать самим собой.

А в 60-е годы на родине Вулфа и за рубежом появляется небывалая массовая аудитория, которой интересно «все», сказанное им в романах. Интерес распространяется и на неизданного Вулфа: публикуются его записные книжки, письма, ранние пьесы. Выходит несколько его биографий и немало критических работ о нем, среди них любопытный сборник газетных и журнальных отзывов на разные издания Вулфа в США за несколько десятилетий. Эти отзывы и вводят в давно завязавшийся спор о Вулфе-рассказчике, идущий поныне.

Автор ждал, как будет принята его книга «От смерти к заре». Для него, замечал он Перкинсу, это важная работа, и здесь есть лучшие образцы его письма. Но критика не

ощутила тогда самостоятельности малого жанра у Вулфа. Ему пришлось услышать, что это не «подлинные новеллы», а только очерки, наброски, заготовки к романам. Или их пространные части, оставшиеся за бортом. К тому же отпечатанный тираж книги не был даже распродан — и это после успеха романов Вулфа!

Скоро положение изменилось. В 1946 году влиятельный критик Максвелл Гайсмар назвал эту книгу «первоклассным сборником». Она узнала успех по обе стороны океана: массовым тиражом рассказы из нее печатались в серии «Пингвин», потом «Сигнет», — и ее полностью перевели, вслед за немцами, и французы. Однако и старые отзывы, скептические и едкие, до наших дней не забыты. Порою к ним склоняются и знатоки писателя: в Вулфе видят романиста, теряющего свою силу в кратких вещах.

А ведь Фолкнер восхищался тем, что весь свой мир он стремился выразить на каждой странице! Конечно, это могло выйти неуклюже и нередко сопровождалось промахами, но добивался-то Вулф творческой насыщенности, поэтической концентрации текста. Вот критерии, позволяющие судить о его удаче. Рассказы этого романиста, как и самого Фолкнера, были связаны кровеносными сосудами со всем его эпическим миром, и в лучших из них вулфовская «вселенная» вместилась в нетрадиционную малую форму писателя XX века. Интересно, что Фолкнер, делая свои заключения, ссылаясь и на краткие вещи Вулфа, на прочитанный им у него «рассказ-другой».

Американская критика показала себя более открытой, когда вышел посмертный сборник Вулфа — «Там, за холмами». Каноны малого жанра не соблюдались и здесь, но такие поздние вещи Вулфа, как «Возвращение блудного сына» и «Чикамога», были приняты как подлинные новеллы — и притом удивительные. В каждую из этих вещей достаточно упругой формы вошла вулфовская «вселенная».

У новеллы о блудном сыне, необычной по своему строю, и предыстория была необычная.

Долгие годы Вулф совершал поездку на родину лишь

в воображении. Благочинный Эшвилл узнал себя в городке, изображенном им в «Ангеле»; с Юга в Нью-Йорк посыпались негодующие, а то и угрожающие письма. Автору казалось, что путь домой ему заказан. Но тем реальнее были для него мысленные возвращения, одно из которых он описал, видимо, в 1934 году. Тут весьма ощутимы тяжелые времена: знакомая улица выглядит уныло, и сам автор из Бруклина явился оборванцем, потрепанным кризисом, под стать городу. Перед нами новейший вариант старой притчи: дома даже не узнали этого блудного сына. А о том, что ждало Вулфа на родине весной 1937-го, нам известно из его острого и чуткого репортажа, оставшегося недописанным. Соединить отстоявшуюся фантазию с оперативным репортажем — это было смелое решение редактора Эсуэлла, увидевшего здесь две части одной новеллы. И оно вполне в духе автора: две части, с их разными художественными стихиями, были внутренне скреплены. Достаточно отметить встречу времен, происходящую в обеих: первые, детские, изначальные впечатления от родных мест — и последние образы своего края, открытого вещему воображению и писательской наблюдательности. (А между этими временами как некий водораздел — пора «Ангела», задевшего земляков.)

Обе эти столь разные части, нашла «Нью-Йорк таймс», «великолепны, каждая в своем роде». А целое, проникнутое внутренне единой мыслью, можно тут добавить, — единственное в своем роде.

Побитый осенней непогодой город из фантазии становится экспозицией всей новеллы, а в действительном возвращении таятся ее неожиданности. На глазах у Вулфа, в горах, среди своих — здесь живет его родня из клана матери, — происходит отчаянно будничное, бессмысленное убийство: жестокость «диких» времен и не думает исчезать в индустриальную пору. А город, снова шумный, встречает бывшего «критикана» как знаменитость, «люди успеха» наперебой зазывают его к себе. И в таком повороте немало иронии: о почетных звонках бизнесменов герою

сообщает мать, прогоревшая в годы кризиса, как и многие здесь.

Во время той же поездки Вулф «нашел» в горах и свою новеллу «Чикамога». Он заметил в начале 30-х, что родня его матери, Уэстоллы, — «самая интересная семья, когда-либо жившая в Америке...» Уже в «Ангеле» был набросан коллективный портрет этой семьи, получившей там имя Пентландов. Фантазеры и ясновидцы, сумрачные пуританские души, потомки шотландских поселенцев, они вносят религиозный пыл в деловые операции и устремляются к американскому «успеху». Для Вулфа это воплощенное прошлое страны, живое в настоящем: через семейную историю ему открываются американские истоки. Разветвленный материнский клан, как будто хорошо ему известный, не переставал удивлять Вулфа: его знакомство с двоюродным дедом Джоном оказалось неожиданным. Фермер, полный жизни в свои девяносто четыре года, привлек его и характером и речью — Вулф оценил «крепкий и поэтический язык», сохранившийся в этом сельском краю. Старый Джон захватил его рассказом о кровавом сражении Гражданской войны, на которую пошел мальчишкой.

Писатель издавна тяготел к новелле-сказу. Мы находим у него такую запись во второй половине 20-х годов: «Лучшие рассказчики — Шервуд Андерсон и А. Э. Коппард». Тут названы два мастера, для которых не было малого жанра без установки на слушателя, и при этом Коппард настойчиво сближал свой жанр с кино, считая намек и недосказанность их общими приметами. Вулф, формировавшийся в пору подъема новеллы на Западе, участвовал в ее движении. Характерное слово будней — и в городской толпе, и в глуши — постоянно звучит в его прозе. Но более всего ему удастся новелла-сказ, воспроизводящая яркую, задевшую его «чужую речь». Виртуозно передав ее, уловив интонацию и склад речи героя-рассказчика, Вулф рисует его портрет. И при этом тонко организует свой сказ, найдя в услышанной от другого истории глубоко органичные для себя мотивы. Это видно на примере «Чикамоги».

Вулф бережно отнесся к слову Джона, далекому от книжности, создав фигуру реальную и одухотворенную. А мотив, выделенный им в этой истории, можно определить его же словами «лицо войны»: старый фермер возненавидел ее буквально навек. Романтическая история Джима, друга рассказчика, и Марты вызывающе не похожа на «южную романтику»: Джим рвется из строя к ожидающей его невесте, проклиная войну — и бессмысленно гибнет в конце сражения. «Чикамога», где давние бои освещены из XX века, была ко времени. И уже в 1941 году эту новеллу-сказ признали «исключительно хорошей по исполнению»; вскоре она стала в Америке хрестоматийной.

Так же высоко оценивали порой и другие рассказы Вулфа. Но мало кто до издания его повестей в 1961-м выражал сомнение: а подходят ли постоянные эпитеты «неуклюжая» и «громоздкая» ко всей его прозе? И мало чье внимание привлекали его сжатые вещи: живой разговор о них завязался за океаном только после успеха повестей. Тут была и неожиданность, что видно по типичному газетному отзыву:

«Поклонников Вулфа не удивят в этих повестях великолепная энергия, прекрасные характеры и лирическая напряженность; но совершенной новостью окажутся здесь для них сжатость, единство и сосредоточенность рассказа...»*

Отметим прежде всего, что лучшие из повестей Вулфа воспринимаются как вещи четкой формы. А потом напомним: они ценились и прежде, в особенности две повести 1932 года — «Портрет Баскома Хока» и «Паутина земли». Первая из них была премирована журналом «Скрибнерс мэгэзин» (проводившим конкурс на лучшую повесть) и охотно включалась в американские антологии. Позднее интерес к ней в Штатах снизился: Вулф ввел составляющие ее сцены, перемонтировав их, в роман «О Времени и о Реке». Но теперь, возвращаясь от романа к повести, критика и может оценить вполне сосредоточенность рассказа в ней. А «Паутину земли» — известный у нас монолог

* Thomas Wolfe: The Critical Reception. N. Y., 1974, p. 225.

матери в Нью-Йорке, в который свободно входит ее жизнь и жизнь провинции*, — еще Перкинс провозгласил редкой удачей автора, имея в виду емкость и экономию формы. Эта повесть и не отходила на задний план: она завершала сборник «От смерти к заре».

После горячего приема, оказанного этим повестям при переиздании, их нередко стали выдвигать как основные вещи Вулфа. К высшим достижениям автора, наряду с несколькими сильными эпизодами его романов, отнес их и авторитетный критик Малькольм Каули. И другие обозреватели, выделившие «Баскома Хока», нашли, что он не пострадал от времени и много говорит нашим дням.

Эта повесть со странным характером в центре ставит общий для прозы Вулфа вопрос о художнике и модели — или, иначе, прототипе. Прототип тут вполне очевиден: дядя автора Генри Уэстолл, удивительный нотариус в Бостоне. Учась в Гарварде, Вулф бывал у него и в конторе и дома, не мог наслушаться, как этот южанин проклинает погоду и честность янки, и считал его с теткой достойными целой драмы. А потом думал ввести этого «ученого мужа в своей семье» в первый роман под именем «дяди Эмерсона». Прототип был для него чарующим и неисчерпаемым, и у Вулфа накопилось уже множество страниц о нем, когда в 1932-м, после месяца усерднейшей работы, возникла повесть. И хотя многое тут написано явно с натуры, автор может и далеко отходить от нее: ведь он дает не портрет лица из своего ближайшего окружения, а причудливый характер, в котором открываются грани национального характера.

Конечно, сами повороты в жизни дяди давали богатый материал для повести. Бедняк с разбитого Юга, рвущийся к образованию; пылкий проповедник в церквах по всему Среднему Западу; истовый делец-законник, с даром слова и вкусом к высокой поэзии. И при этом — чисто пуританская натура, фантастически бережливая, вечно отлетающая от реальности, уходящая в свой внутренний мир. Да,

* Напечатана в журнале «Иностранная литература» 1971, № 7.

тут в одну жизнь ухитрились войти американские века.

И вся повесть о ней богата комическим элементом: от первого появления Баскома и до его рискованных прогулок со вдовой-искусительницей во Флориде. Вот «входит» этот комически-привлекательный персонаж, весь из неожиданностей: не желая замечать машин, он чудом добирается без увечий до своей конторы. Он чувствует себя «взысканной судьбой», олицетворяя на бостонских подмостках тот же материнский клан горцев. На перекрестках новой, урбанистической Америки это посланец старой, сельской. Таков южанин-законник и во взрывах риторики, когда нанизывает параграфы, затейливо подбирает синонимы и сыплет библейскими проклятиями, падающими здесь на голову злосчастного шутника-шофера.

И в конторе, среди стертых «современных» лиц, этот старик с головой Эмерсона кажется выходцем из других времен. Хотя во всей натуре человека духа отпечаталось родовое, «пентландовское», и он издавна погружен в мир прозы: фамильная страсть к собственности вовсе не чужда бывшему проповеднику. Юмор повести становится колким, когда вития появляется в роли строителя приземистых домиков для бедноты. И не может сдержать ликующих речей, встречая их будущих хозяев,— эта иммигрантская голь торжественно приходит с ним расплачиваться. Вулф писал свою повесть в Бруклине и мог взглянуть на дядю глазами тех, с кем тот затевал, получив взнос, разговор глухих.

Но и под «норму» бизнеса Баском, этот живой гротеск, подходит не всегда. Испещренный его пометками Гомер в оригинале, да и излюбленные им независимые умы буржуазной эпохи Эмерсон и Карлейль продолжают освещать его метаморфозу как странную. И для племянника он остается и в конторе, среди прозы, человеком неожиданной мысли, поэтому так любопытен контакт с ним. И в то же время старость и юность существуют в повести в разных измерениях. Один уже глух к волнениям жизни, а для

другого она впереди, со всем, что предвещают краски и шум Бостона.

Критическое и человеческое содержание этой повести давно сделало ее всемирной. Еще в 1935-м известный том американской новеллы, выпущенный в оригинале в Гамбурге в серии «Альбатрос», завершился «Баскомом Хоком». Это была достойная антология — с новеллами Ш. Андерсона, Хемингуэя и Колдуэлла. Перепечатка здесь повести Вулфа сильно способствовала ее международной известности. Видя в нем «значительнейшего писателя», самобытного и в малом жанре, Элио Витторини включил ту же повесть в 1941 году в свою знаменитую антологию «Американа» (ее первое издание было конфисковано фашистским государством). А в 1943 году повесть появилась еще в одной антологии американской новеллы, вышедшей на испанском.

Творческий диапазон Вулфа-рассказчика был широк. Не сразу осознали, сколько тонких миниатюр оставил этот «громоздкий» автор. Но одну из них выделяют давно — «Только мертвые знают Бруклин»: для Фицджеральда это была вещь «высшей пробы».

Лаконичная, вся на диалоге, новелла создает образ холодного города, где не освоится пришельцу, а вот «утонуть» — недолго. Щемящая лирика преломлена через серое слово будней и стертые шутки ко всему привычных бруклинцев. Вулф тяготеет тут к лаконизму Хемингуэя, у которого ценил подтекст и скрытую силу слова, наводящего на размышления. Существует восторженная запись Вулфа по поводу романа «Прощай, оружие!»: автор говорит одно и при этом — косвенно, наводящим образом — вдесятеро больше. Конечно, эти писатели не во всем были антиподами. Одному из важнейших критериев Хемингуэя проза Вулфа и вот эта миниатюра вполне отвечали. Хемингуэй говорил, что не бывает первоклассных писателей без слуха. Что ж, Вулф умел слушать и воспроизводить разговоры и у себя в горах, и в нью-йоркском метро или баре. И улавливать угрозу или драму, скрытую за незначущими репли-

ками и словесной перепалкой.

В миниатюрах Вулфа перед нами и поэтически данные его герои. Идеальные циркачи из мальчишеского воспоминания, люди праздника, не по меркам мещанской провинции («Цирк на рассвете»). Старый французский крестьянин, душевно щедрый, с любопытством в глазах («Солнце и дождь»). Фантазер-машинист, с его тяжелой службой и романтическим праздником, кончившимся вместе с нею («Издали и вблизи»). Все это не беглые зарисовки — перед нами картины и характеры, важные для всей прозы Вулфа.

Коснемся теперь еще двух его значительных рассказов из первого сборника: оба признаны его шедеврами, и оба (как и «Баском») складывались исподволь, годами.

«И странно время, как лесная тьма» — это история встречи, бывшей на самом деле, но, конечно же, пересозданной здесь. Действительная встреча произошла в поезде на юге Германии в декабре 1926-го, тогда Вулф и занес несколько строк в памятную книжку. А в 1933-м вернулся к этой истории, описав гомон толпы на вокзале в Мюнхене, грубоватые голоса и шутки — шум жизни. Это начало рассказа, а в конце его — темные немецкие леса, безмолвие Альп. И в купе поезда, идущего к Альпам, тихий разговор с мудрым соседом, евреем, в котором угасает жизнь: и этот разговор Вулф набросал годы спустя. У них есть контакт, сосед вполне понимает американца непоседу, он предсказывает, что и того потянет домой, и тому будет достаточно одного поля и одной реки — родных мест. Это обостряет контраст двух эпох человеческой жизни. А весь недолгий разговор в купе летящего поезда — одна из самых сильных у Вулфа встреч старости и молодости.

И — «В парке», искусная новелла-сказ, совершенно не похожая на те, что были раньше. Героиня-рассказчица тут миссис Джек. Прототипом ее была театральная художница Алина Бернстайн, которой посвящен «Ангел», — годы любви к ней Вулф описал в «Паутине и скале». В роман вошли увлекательные истории миссис Джек о ее родных,

а этот эпизод Перкинс давно выделил в рукописи как по-своему законченный. И Вулф, обратившись к нему в 1932-м, пересмотрев и дополнив его.— тогда и появилась знаменитая страница об утре и пробудившихся птицах в парке,— создал завершенную новеллу.

Это воспоминания миссис Джек о юности в канун нового века, об отце — талантливом актере и его колоритных друзьях — ирландских патерах. Тут воздух того времени, его веселье, его приметы. И эта новелла-сказ дает не только услышать голос юной героини, но и представить ее себе. Мы находим тут и основные вулфовские мотивы. Это ощущение праздника и весны, полной жизни, на пределе,— но и у трагедии, за год до смерти отца. Как и столетний фермер в «Чикамоге», дочь актера выступила тут талантливым сотрудником автора: ведь это из ее слов он создал в конце свой образ утра, возможный только у него.

В заключение скажем еще о «Льве утром» из посмертного сборника. В новелле есть нечто итоговое. И с точки зрения духовного развития Вулфа — в 30-е здесь проявилось пришедшее к нему убеждение, что необходима «радикальная перестройка капиталистического общества» (эти слова писателя приводит его биограф Э. Тернбулл). И с точки зрения его поисков в области свободной малой формы.

Рецензенты порою упрекали Вулфа-рассказчика за нарушения «школьных» правил: начнет вещь в одном роде, а продолжает в другом. Фолкнер, однако, считал, что Вулф потому и мог сказать «все», что не боялся нарушать правила, даже не только школьные. Он оценил эстетическую разомкнутость Вулфа. Но она, заметим, отличала и его самого, и наиболее литературно близким писателем для Вулфа 30-х был именно Фолкнер. С восхищением говорил Вулф в интервью 1936-го о его романах «Святылище», «Шум и ярость» и «Когда я умираю». Смело сочетать разные стили в одном стиле, ввести в одну композицию разные художественные стихии — это линия Вулфа и достаточно «фолкнеровская» линия. «Лев утром» строится на неожиданных стилевых переходах.

Перед нами пробуждение банкира в его доме-дворце, кричаще роскошном, безвкусном и нежилом, как и вся их улица богачей в Нью-Йорке. Свежим майским утром, которому даже не проникнуть сюда, герой-пуританин весь во власти недовольства: своей жизнью, своим домом, своей средой. И вскоре поворот от «быта» к высокому: нам открываются терзания американского духа в роковом 1929 году, в самый канун биржевого краха. Внутренняя речь героя полна яростных проклятий — то шекспировской, то библейской окраски: он клянет разбой воротил и низкопоклонство перед ними, недоумевая, где она, старая Америка? А за риторикой — пародия, после проклятий — забавный поворот. Герой находит в газете свое имя почтенного прихожанина той самой церкви, один из столпов которой попал в скандальную хронику. И в текст введена и обыграна пародийная заметка, иначе освещающая ту же привычную банкиру среду.

Это вещь позднего Вулфа, с беспощадными толстовскими интонациями. Интересно, что для своего дворца, с позолотой и плюшем, так мало годного для жизни, банкир находит название «После Бала», это и язвительно переименованное клише светской хроники. Сами вековые основы буржуазной Америки подвергаются у Вулфа критическому пересмотру, и происходит это не только в романе, но и в новелле.

М. Ландор

Возвращение блудного сына

1. Как подсказало воображение

Юджин Гант был писателем и своими книгами приобрел некоторую известность в широком мире. Со временем он даже прославился. Книги его читали, и куда бы он ни явился, всюду оказывалось, что имя его там уже знают. Вернее сказать — всюду, кроме тех мест, где он больше всего хотел бы прославиться, — у него на родине, дома.

Причину этого нетрудно понять. Его первый роман был в большой мере основан на знании людей, приобретенном еще в детстве в маленьком городке. Когда книга вышла, тамошние жители прочли ее, и им показалось, что в лицах, выведенных в книге, они узнали себя, после чего весь город, почти без исключений, на него ополчился.

Он получил много угрожающих писем. Пусть только попробует, писали люди, снова показаться в тех местах, где появился на свет.

Это было для него полной неожиданностью, ударом, от которого он долго не мог оправиться. Он очень страдал и целых семь лет не возвращался домой. Стал изгнанником и скитальцем.

И все эти семь лет, что он не возвращался, мысли его непрестанно туда стремились. По ночам — шагал ли он по улицам далеких городов или метался без сна в постели в чужих краях — он думал о родном доме, вспоминал каждую черточку на знакомом лице городка и гадал, какой прием будет ему оказан, если он наконец решится снова посетить родные места.

Он думал об этом так часто и с такой ностальгической силой, что в конце концов воображение его построило

картину, которая казалась ему правдоподобнее всего, что он когда-либо пережил на самом деле. С тех пор картина эта не менялась. Она являлась ему тысячи раз, эта картина того, что будет, если он вернется домой.

Однажды ненастным вечером в конце октября какой-то мужчина быстро шагал по улице городка Алтамонт в горном районе Старой Катобы*. Час был поздний, и шел холодный мелкий дождь, подгоняемый порывами ветра. Кроме этого одинокого пешехода, на улице не было ни души.

Самая улица была обшарпанная, безлика, из тех, где быстрая смена декораций и признаки былого величия особенно заметны. Даже в это унылое время года и в этот поздний час можно было понять, что улица знавала лучшие дни и когда-то жить на ней было приятно. Дома по большей части были каркасные, в том архитектурном стиле, уродливом, путаном и претенциозном, что процветал лет сорок — пятьдесят тому назад, и сейчас, неосвещенные, казались необитаемыми. Многие из них расположены были отступя от улицы, в просторных дворах, создававших видимость умеренного достатка и обеспеченности; и осеняли их старые деревья, в голых сучьях которых жалобно завывал ветер. Но даже в темноте было видно, какие злые времена настали для домов и для улицы. Тощие многофронтонные постройки, исхлестанные ветром и холодным дождем, словно оседали и коробились от старости и небрежения и безрадостно беседовали между собой, как больные старики в окружавшей их наготе черной ночи и ненастья. В удручающей скрытности мрака инстинкт безошибочно подсказывал, что старые дома дожили до тяжелых времен и много лет как не крашены; и даже если бы интуиция промолчала, самый характер улицы, смешанный, неожиданный, свидетельствовал бы о судьбе, ее постигшей. Там и сям узор газонов был грубо обезображен вторжением мелких, необдуманных и некрасивых построек из

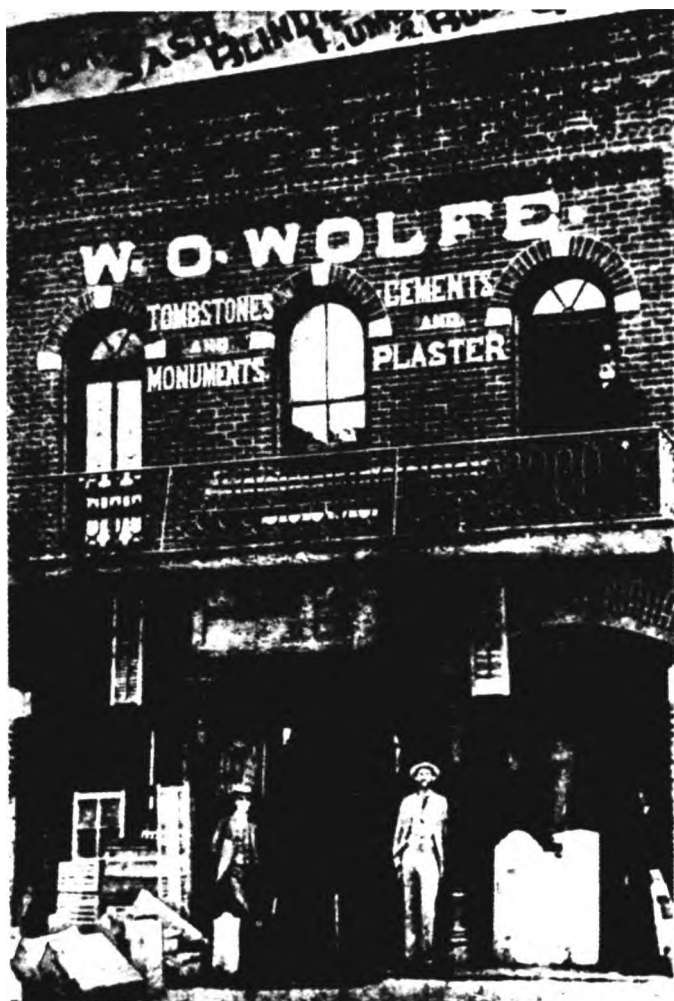
* Старая Катоба — так Вулф обозначает в своей прозе родной штат — Северную Каролину (*Здесь и далее — примечания переводчиков.*)

кирпича и бетонных плит. В них помещались разнообраз-ные заведения: были два-три бакалейных магазина, гараж, крошечные лавчонки, где торговали всяким автомобильным хламом, а в одном из домиков, самом претенциозном из всех, помещался выставочный зал какой-то автомобильной компании. В резком свете уличного фонаря, исчерченном жесткими тенями голых, пересекающихся ветвей, мощные и стройные формы новых машин роскошно поблескивали, но в этой роскоши почему-то угадывался грозный, холодный и безутешный мрак, более жестокий и тоскливый, чем весь остальной мрак старой, темной улицы.

Пешеход, единственный признак жизни на улице в этот час, казалось, не проявлял ко всему этому особого интереса. Он нес небольшой чемодан и по внешности мог сойти за чужого, но его повадка — уверенный шаг и быстрые, даже критические взгляды, которые он время от времени бросал на встречные предметы, — указывала на то, что картина ему не внове, но когда-то, в какой-то период его жизни, была ему хорошо знакома.

Наконец, отшагав примерно половину улицы, он остановился перед каким-то старым домом, поставил чемодан на тротуар и только теперь выказал признаки сомнений и нерешительности. Несколько минут он постоял, глядя на темный дом пытливо и тревожно, словно пытаясь угадать по его безразличному и угрюмому лицу, какая там идет жизнь, или найти в его некрасивых, изможденных чертах ответ на занимающий его вопрос. Постоял так некоторое время, но потом нетерпеливым движением подхватил чемодан, поднялся по нескольким бетонным ступеням во двор, быстро прошел по дорожке, взошел на крыльцо, опять опустил чемодан на землю у самой двери и, переждав еще минуту тревожных колебаний, раздраженно, почти гневно покачал головой и нажал кнопку звонка.

В старой, темной прихожей, тускло освещенной в дальнем конце одной слабой лампой, звонок прозвучал резко и пронзительно, вызвав у человека движение, выражающее



Отец Томаса Вулфа перед своей мастерской

внезапный испуг, а вернее — удивление и недовольство. Челюсти его судорожно сжались; потом, упрямо сунув руки в карманы своего непромокаемого пальто, он склонил голову и стал ждать.

...Они от нас бегут, а раньше нас искали, и безнадежные паузы звучат меж наших покоев, в давних ночных беседах, которые оседают со скрипом, и проходят, и вновь возвращаются. Они от нас бегут, а раньше нас искали. И теперь, в старом доме жизни, обреченные на темные паузы и ночные бдения, мы сидим в одиночестве и ждем.

Что это за предметы, оболочки, отзвуки привычной жизни, что за реликвии давних, забытых времен? Мотки бечевки, клубки ниток, и коробки с пуговицами, и пачки старых писем, исцарапанных нечеткими, выцветшими письменами умерших людей, а на растрескавшемся старом буфете, полном разбитой и склеенной посуды, старые деревянные часы, где Время ведет свой роковой и нерушимый счет всю ночь, пока в нескончаемой тишине беззвучно осыпаются балки старого дома жизни.

И здесь, среди всех этих диковин, сидит женщина, уже далеко не молодая, привязанная к прошлому, и вспоминает, пока дом трясется от ветра, и тихо колышутся мотки бечевки, и дребезжат стаканы, вспоминает, как взлетала пыль в один незабвенный день, и как светило солнце, и раздавалось много голосов, ныне мертвых, и как бывает, что в этих полуночных бдениях возникает слово, и она слышит шаги, то ближе, то дальше, и старые двери оседают со скрипом, и что-то происходит в старом доме Жизни и Времени, в котором она ждет одна.

Голый, внезапный удар звонка ворвался в ее грезы как взрыв. Женщина вздрогнула, словно кто-то заговорил у нее за спиной. Ее распухшие, обезображенные ноги быстро исчезли с края топки, где она грела их, и, бросив взгляд вокруг и вверх, как вспугнутая птица, она невольно вскрикнула, хотя в комнате никого не было: — А? Кто там?

Потом, глядя сквозь очки на деревянные часы, она

медленно поднялась, постояла, уперев в бока широкие, загрубевшие от работы руки, вышла в прихожую и направилась к запертой парадной двери, глядя неуверенно, озадаченно, взволнованно. У двери она опять остановилась и, по-прежнему держа руки на бедрах, подождала минуту в неуверенном, смущенном раздумье. Потом, ухватив тяжелую медную ручку, приоткрыла дверь на несколько дюймов и, вглядываясь в темноту с любопытством и страхом, повторила человеку, которого увидела, те же слова, что за две минуты до того сказала самой себе в полном одиночестве: — А? Кто там? — И тотчас добавила уже явно недоверчивым тоном: — Что вам нужно?

Он ответил не сразу, но если бы хватило света разглядеть его лицо, она увидела бы, что он вздрогнул и чуть не заговорил, но сдержал себя почти судорожным усилием. А потом ответил спокойно: — Комнату.

— Что такое? — сказала она, глядя на него недоверчиво, даже обвиняюще.— Комнату, говорите? — И после короткой паузы, резко: — Кто вас прислал?

Он помедлил, потом ответил: — Какой-то мужчина, которого я встретил в городе. В кафе. Я ему сказал, что мне нужно здесь переночевать, и он дал мне ваш адрес.

Она опять повторила его слова, но теперь в ее тоне сквозил и быстрый расчет, словно она не столько спрашивала его, сколько обдумывала его слова: — Мужчина... кафе... Говорите, вам сказал? — И тотчас, словно поняв и приняв наконец смысл этого ночного посещения, добавила: — Ну да! Макдональд. Он часто присылает мне постояльцев. Ну что ж, входите.— И она отворила дверь и отступила в сторону, впуская его.— Вам, говорите, нужна комната,— продолжала она уже мягче.— Сколько же вы думаете здесь пробыть?

— Только до завтра,— сказал он.— Завтра я с утра двинусь дальше.

Что-то в его тоне пробудило в ней мимолетное, неясное воспоминание. В тусклом свете прихожей она вгляделась в него внимательно, печально и как-то растерянно и спро-

сила так же резко, почти вызывающе, как говорила вначале, но теперь уже не скрывая сомнений: — Так вы говорите, что вы здесь никого не знаете, — хотя ничего подобного он не говорил. — Значит, вы здесь по делу?

— Н-ну, не совсем, — отвечал он нерешительно. — Вообще-то можно сказать, что я здесь никого не знаю. Я не был здесь очень давно. Но родился я здесь поблизости.

— Вот я и подумала, — начала она немного увереннее. — Что-то было такое в вашем голосе. Не знаю, что, но... — продолжала она с робкой и почти дружелюбной улыбкой, — мне показалось, что где-то я его уже слышала. Вот и решила, что вы, наверно, не издалека. Решила, что вы никак не с Севера — северяне так не говорят... Ну так входите, — сказала она примирительно, словно довольная результатом своих расспросов, — раз вам комната нужна только на одну ночь, я вас, наверно, смогу устроить. Но уж и вы не требуйте многого, — добавила она простодушно. — Когда-то я держала пансион, но теперь и годы мои не те, и сил не осталось, чтобы обо всем заботиться, как бывало. Дом стареет, разваливается. Он для меня слишком велик. Не могу я уделять ему столько внимания, как раньше. Стараюсь, чтобы везде было чисто, и если это вам подходит, что ж... — она обхватила себя за талию рассеянным, задумчивым движением и с минуту что-то прикидывала в уме. — Что ж, — сказала она, — могу взять с вас за комнату пятьдесят центов.

«Мало, конечно, — подумала она, — но больше у него вряд ли найдется, а времена сейчас такие, что либо бери сколько можешь получить, и тогда хоть что-то получишь, либо не бери ничего, и тогда все потеряешь. Да, постоялец незавидный — немногим лучше бродяги. Но и то сказать, Макдональд вполне мог его раскусить, а раз Макдональд его прислал, значит, ничего. Да в наше время других и не дождешься. Которые почище, у тех у всех теперь машины, им подавай горы. Да и кому охота жить в таком старом, холодном, запущенном доме, если есть деньги на гостиницу. Так что пушу я его, пожалуй, и возьму столько,

сколько он может заплатить. Все лучше, чем ничего».

Пока эти мысли проносились у нее в голове, она смотрела на него сквозь очки пристально и зорко, и лицо ее выражало удивление и легкую тревогу. Фигура, которую ее старые, усталые и ослабевшие глаза различали в тускло освещенной прихожей, и вправду не вызывала особого доверия. Человек был очень высокого роста, грузного сложения, в смятой одежде, которая, как она мысленно определила, «выглядела так, будто он всю страну проехал в самом дешевом вагоне». На лице проступила черная недельная поросль, и черты его, хотя не грубые и не тяжелые, когда-то жестоко пострадали. Нос, короткий, вздернутый и воинственный на вид, был когда-то сломан у переносицы и плохо залечен, а по низу его бежал наискось шрам. Это придавало всему лицу что-то дикарское, и такое впечатление еще подтверждалось выражением глаз. Глаза были карие, в них затаилась какая-то темная обида, словно жизнь успела нанести ему глубокую рану и он пытается скрыть это под видом свирепости, не менее раздражающей, чем грубая речь.

И все же именно этот холодный гнев, затаившийся в глазах, почему-то успокоил женщину. Видя, что на ее пытливые взгляды он отвечает прямым и гневным взором, она вроде как приободрилась и подумала: «Да, вид у него разбойничий, но он честный человек, никакой в нем нет подлости, а значит — все в порядке».

А вслух повторила: — Так входите. Если вам здесь нравится, могу предложить вам вот эту комнату.

И, повернувшись, пошла впереди него в комнату из прихожей направо и включила неяркий свет. Комната была большая, окном на улицу, обставлена скупой, как и весь дом, с высоким потолком и выбеленными стенами, унылая, голая, чистая и холодная. Был в ней старый черный камин, свежерыкрашенный и незатопленный, он мрачно подчеркивал белую обнаженность комнаты. Стопанные половицы прикрывал чистый, но изношенный ковер. В одном углу стоял дешевый комод с овальным зеркалом, в другом —

небольшой умывальник с кувшином и тазом и подставка с полотенцами, а в нише окна притулился нелепый столик под белой скатертью. Напротив двери помещалась кровать белого металла, чистая, но лечь на нее не тянуло.

Женщина постояла, окинула комнату задумчивым взглядом и наконец произнесла спокойно и равнодушно: — Вот. Вам здесь, наверно, покажется холодно, но в доме никого нет, только я и один постоялец, а топить камины во всем доме, когда никто ничего не платит, на это у меня нет средств. Но все чистое,— добавила она спокойно,— а на кровати хорошие теплые одеяла. Спать вам будет тепло, а раз вам завтра рано вставать, сегодня вы вряд ли захотите расслаживаться.

— Конечно, мэм,— отвечал он тоном и резким и обиженным.— Я здесь отлично устроюсь. А заплачу вам теперь же, а то завтра, может, не увидимся.

Он достал из кармана монету и передал ей. Она взяла деньги с равнодушным спокойствием старых, терпеливых, невозмутимых людей и постояла еще минуту, оглядывая на прощание комнату перед тем, как оставить его одного.

— Ну вот,— сказала она.— Все, что нужно, у вас тут есть. Чистые полотенца на подставке возле умывальника, ванная наверху, в конце первого коридорчика налево.

— Благодарю, мэм,— ответил он таким же тоном.— Постараюсь никого не потревожить.

— А тревожить-то некого,— отозвалась она спокойно.— Я сплю в дальнем конце дома, отовсюду далеко, а что касается мистера Гилмора — это теперь мой единственный постоянный жилец,— он здесь уже много лет и до того тихий, что я и не знаю, когда он дома, когда нет. И спит так крепко, что и не узнает про вас. Сейчас его еще нет, придет с минуты на минуту. Так что нас вы несколько не потревожите. И вас никто не потревожит,— добавила она и вдруг взглянула на него в упор и улыбнулась бледной, робкой улыбкой немолодой женщины с вставными зубами.— Одно могу вам сказать верно — второго такого тихого дома вам не найти. Так что если услышите, что кто-то вошел, не беспо-

койтесь, это просто мистер Гилмор пройдет в свою комнату.

— Спасибо,— сказал он холодно,— все ясно. А теперь,— добавил он, отворачиваясь, словно с тем чтобы закончить эту затянувшуюся беседу,— я буду ложиться. Вам тоже давно пора спать, мэм, не буду вас больше задерживать.

— Да,— сказала она торопливо и шагнула к двери, однако все еще не спуская с него нерешительного, растерянного взгляда.— Если что еще понадобится...

— Нет, мэм. Больше ничего. Спокойной вам ночи.

— Спокойной ночи,— отозвалась она и, в последний раз окинув взглядом холодные стены комнаты, тихо вышла и закрыла за собою дверь.

После ее ухода мужчина сперва застыл на месте, недвижимо и беззвучно. Потом медленно огляделся, рассеянно провел рукой по небритой щеке. Наконец его блуждающий взгляд остановился на отражении в зеркале, и он поглядел на себя в упор, с каким-то тупым удивлением. И вдруг черты его исказились гримасой, инстинктивной и мучительной, как у загнанного зверя.

Впрочем, гримаса почти тотчас исчезла. Он пригладил руками растрепавшиеся волосы, сердито, словно от боли, помотал головой. Потом быстро, нетерпеливо снял пальто, бросил его на стул, сел на кровать и, нагнувшись, развязал шнурки грязных ботинок, скинул их и несколько минут присидел так, уставясь в стену. Холодная, белая нагота комнаты окутала его и словно околдовала его душу.

Но вот он пошевелился. Губы задвигались. Он снова оглядел белые стены, точно что-то узнавая и не веря. Потом, качая головой и пожав грузными плечами, словно стряхивая невольную дрожь, он вскочил, выключил свет и как был, одетый, лег на постель и накрылся стеганым одеялом.

И пока буря ломилась в дом и холодное молчание заливало его, он лежал на спине неподвижно, глядя в черный мрак. Но наконец холодное темное молчание переполнило его до краев, глаза закрылись, и он уснул.

В старом доме Времени и Молчания ночью что-то всегда поскрипывает, движется, и поскрипывает, и не может утихнуть.

Человек проснулся как ужаленный, с таким чувством, будто и не засыпал. С таким чувством, будто никогда и не уходил из этого дома, никогда и не покидал родных стен. Безотчетный страх овладел им, немой ужас сковал дыхание, тишина положила руку на его сердце. Ибо в мозгу его словно прозвучал давно забытый голос, в сердце отозвалось слово, в ушах раздались и тут же замерли тихие шаги.

— Кто-нибудь здесь есть? — спросил он.

Буря билась о дом, и мрак заливал его. Было только холодное молчание, и миллионами дробинок падал мелкий дождь.

«Но я это слышал,— повторяло что-то внутри его.— Я слышал голос человека, чье имя теперь редко поминают. Слышал шаги, они прошли вот здесь, шаги призрака и друга, и с ними был голос, он заговорил со мной, сказал мне одно только слово: «Брат!»

Или это буря говорит миллионами голосов? — спросил он себя.— Или дождь? Или это мрак наполняет старый дом жизни и дает тишине язык, дает голос чему-то, что вечно движется и поскрипывает в ночи? Или это страх перед холодным молчанием сделал так, что я возвратился, а возврата нет, я чужой в этом доме, где даже родная мать меня забыла? О, неужели это холодное живое молчание ужаса, что движется в доме ночью, поражает живое человеческое сердце призрачными кинжалами былых времен и памяти? Есть ли язык у молчания и мрака?»

Легкие и невесомые, как дождь, над ним пробежали шаги.
— Кто здесь? — спросил он.

Буря билась о дом, и тишина заливала его. Мрак рыскал за окнами, и голые сучья скрипели, и в дом проникло нечто столь же незримое, как мрак, и вдруг он опять его услышал и знал, что оно здесь.

У него над головой, в прежней комнате Бена, в комнате

его брата Бена, уже много лет как умершего и, подобно ему, забытого, он услышал странную легкую поступь, невесомую, как у птицы, мягкую, как зола, и быстрою, как дождь.

И вместе с поступью снова услышал знакомый голос, тихо говоривший: — Брат, брат!.. Зачем ты вернулся?.. Ты же знаешь, домой тебе возврата нет!

2. Как это было на самом деле

Юджин Гант не был дома семь лет, и за эти долгие годы не раз принимался спорить с самим собой, рассуждая: «Я непременно вернусь домой. Я все объясню насчет замысла моей книги, буду говорить так, что ни один человек не усомнится в моих словах. Вернусь домой и буду говорить с ними, пока все не станет ясно как божий день».

Он знал, что о его давнишней жестокой ссоре с городом нужно сказать много такого, что сказать можно. Знал и то, что нужно бы сказать и много такого, чего сказать нельзя. Но время бежит и прекращает любые споры. И однажды, когда прошло семь лет, он собрал чемодан и пустился в путь — домой.

У каждого из нас есть своя Америка, свой кусок земли, начиная с которого все уже знакомо, как лицо матери. Юджин начал с Геттисберга, родины отца; потом взял на юг через Хагерстаун и вниз по Виргинской долине.

Сначала — огромные амбары, широкие просторы и раздольные волны пенсильванских полей, ухоженные дома. Ниже — все еще широкие поля, все еще ухоженные дома, белые заборы и крашенные амбары, изящество и прелесть, донныне присущие Виргинской долине. Но вот, только теперь, появляется еще и негритянская серость — серые сараи, серые навесы, серые амбары и пристройки, не боящиеся погоды, которая подарила им этот серый налет, чтобы возместить недостаток краски. И теперь же — знакомая изрезанная краснота обыкновенной глины. Юджину Ганту,

возвращающемуся домой, все это, увиденное глазами отсутствия, казалось невообразимо прекрасным.

По всей Виргинии прошли обильные весенние дожди, земля набухла, и повсюду блестели лужи. Близилось цветение яблонь, и в воздухе чуть заметно пахло яблоневым цветом и дождем.

Виргинскую долину он прошел очень медленно. И медленно поднимался дождь, а однажды, из солнца и света, появилось синее покрывало, окутывающее защитные плечи высокого Синего хребта.

И после этого из необъятной долины стали быстро вырастать холмы, а признаки прежних ухоженных просторов — исчезать в синей дымке. Здесь шла другая жизнь, звучал другой язык — жизнь и язык речек, холмов и ложбин, ущелий, хребтов, и отрогов, и хижин, прилепленных каждая к своему клочку земли.

И вдруг Юджин понял, что вернулся в свои пределы, в свои краски и время, его окружала погода его детства, он опять был дома.

Следуя какому-то глубинному, нерассуждающему желанию оттянуть время, отсрочить трагедию своего возвращения, он выбрал сложный путь на юго-запад, который привел его из Виргинии в Теннесси, потом опять на юг, через высокий горный хребет в Ноксвилль. Оттуда дорога на Алтамонт длинная и извилистая. Почти сразу начинается подъем на Большие Дымные горы. Дорога петляет, то вьется над бурной рекой, кипящей у подножия отвесных скал, потом идет вверх, выше и выше. Май в этих горных лесах холодный, наступает поздно. Рваные нити тумана медленно окутывают плечи гор. Здесь видно, что каштаны поражены болезнью: сгубленные метелями, стоят эти великаны-часовые на страже горных высот.

А дорога теперь уже очень круто взобралась на последний гребень. Полусгнившие стволы огромных каштанов уныло торчали по сторонам. Высоко на выветренных склонах, лишенных растительности, виднелись грубые шрамы



Мать писателя (1944)

слюдяных разработок. Дальше в невидимые дали уходили синие рваные обрывки погибшего и забытого мира. И вдруг дорожный знак — Юджин вернулся в Старую Катобу, и дальше дорога шла вниз — в Зебулон.

Зебулон — погибший мир. Зебулон — слоги, которые слагались в красную глину извечных владений его материнской родни.

И сразу же сквозь годы донесся голос матери: «Сын, сын! Где ты, мальчик?.. Да куда же он девался?» А с ним — слабые отзвуки колокольчика — как тени облаков, пробегающие по склонам, как смолкнувшие голоса его родичей в горах, давным-давно. С ним вернулись воспоминания о бесконечных рассказах матери про ее родню, про давнишние весны, про холодные сумерки и изрытую колеями глину, про то, что случалось в горах на закате, когда красное западное небо бледнело, делалось рваным, холодным, безутешным и в дубах завывала зима.

А с отзвуками материнского голоса, который словно заполнял своей без конца повторяющейся нотой все дни его детства, к нему вернулось ощущение всего, что он когда-либо знал: парадное крыльцо старого дома в Алтамонте, в котором он когда-то жил, грубое прохладное мычание Блековой коровы, жующей жвачку в проулке за домом, вдоль изгороди, которой обнесен был задний двор, летом — звук распиливаемого льда с жаркой улицы, хорошие хозяйки, до полудня обмотавшие непричесанные головы платками, запах тертой репы, а чуть дальше, на углу — пронзительный скрежет трамвая на остановке и звук пустоты, когда он уйдет, потом шлепанье кожи по тротуару — это мужчины в полдень возвращаются домой обедать, и хлопанье дверей, и негромкие приветствия; а внутри, в доме, застоявшийся прохладный запах старой гостиной и запертый запретный запах фортепиано, звенящие стекляшки люстры, волшебный фонарь с битвой при Геттисберге, на каминной полке восковые фрукты под стеклянным колпаком, и он сам на отцовском диване, погруженный в книгу, а воображение уносится в сказочный мир братьев Гримм,

к мыслям о колдуньях, прекрасных принцессах, феях, эльфах и гномах и о волшебном замке на высоком утесе.

Потом вспомнился один отдельный день и опять голос матери:

— Сынок, сынок... Ведь только что был здесь... да где этот ребенок? Мальчик, где ты?.. Ах, вот он! Мальчик, приехал твой дядя Вакх, приехал из Зебулона, откуда пошла вся твоя родня, моя родня. Мой отец сколько лет прожил в Зебулоне, он там и родился сто лет назад, а дядя Вакх был его братом.

И тут же голос дяди Вакха — тягучий, неспешный, точно сеется зимняя зола, в нем хранилось все время, вся память с обертонами голоса давно умерших родственников: «Я его узнал, Лиза, как только увидел. Он на тебя похож». Голос был милостивый, самоуверенный, торжествующий, незабываемый — ненавистный, как те елейные голоса, что шептывают назидательные слова, пока люди тонут. То был поистине голос сиделки у постели больного, голос человека, который сторожит и ждет, торжествуя, когда другие умирают, а потом дежурит возле мертвых в горной хижине и тянет эту ерунду под аккомпанемент потрескивающих на огне сосновых сучьев и медленно осыпающейся золы.

— Твой дядя Вакх, сынок, из Зебулона...

Так с возвращением Юджина Ганта возвращалась память. И вот он — Зебулон. И дальше вниз кусок дороги — его дороги домой. Справа и слева вздымались самые высокие горы в восточной части Северной Америки. Дорога бежала круто вниз мимо больных каштанов и шумных вод в горные твердыни старого Зебулона.

И вновь звучал голос дяди Вакха:

— Твой дед, сынок, был мне родным братом. Он, как и все мы, родился в Зебулоне на Южном пальце. Женился там на твоей бабке и вырастил семью. А его отец — и мой — пришел туда еще за много лет до этого. Помню, он рассказывал, тогда это были дикие места. Там жили чероки, когда твой прадед туда явился. Да, вот так-то. И он охотился, ловил рыбу, ставил капкан на медведя. Все, что ел,

либо сам выращивал, либо сам ловил. Знаменитый был охотник, одно время, говорят, охотился с собаками аж до Теннесси.

И опять голос матери:

— Правильно, так оно и было. Мне отец про это тысячу раз рассказывал. Ты там побывай когда-нибудь, сынок. Я там много лет не была, но родни моей в Зебулоне еще хватает. Дядя Джон, и Тед, и Сид, и Берн, Люк и Джеймс, все там живут со своими семьями... А еще я тебе вот что скажу — дядя Вахх совершенно прав. В те дни места эти были дикие. Да, отец рассказывал, что еще в его время сколько там было всякой дикости. А теперь — где это я читала на днях, — читала, понимаешь, статью, и в ней сказано, что дикости там совсем не осталось.

Центр округа Зебулон — небольшой городок. Юджин решил переночевать там, попробовать отыскать кого-нибудь из материнской родни. Гостиницы не было, но нашлись меблированные комнаты. И только он начал наводить справки о Пентландах, ее семье, как нарочно, на каждом шагу стали попадаться люди, уверявшие, что они — родня. Большинство их он раньше никогда не видел, даже не слышал о них, но стоило ему назвать себя, как выяснялось, что они-то знают, кто он такой, и всякая подозрительность и горская замкнутость, с какими они встречали его, когда думали, что он чужой, быстро уступали место дружелюбию и любопытству, едва оказывалось, что он — «сын Элизы Пентланд». Один человек проявил особенную любезность.

— Черт подери, — сказал он, — мы все слышали о тебе от твоего родича Теда. Он живет в миле от города. И твои дядья Джонни, и Берн, и Сид. Все они там, на Пальце. Они захотят тебя повидать. Завтра могу свозить тебя туда. Я — Джо Пентланд, мы с тобой троюродные. Здесь все со всеми в родстве. В округе Зебулон всего пятнадцать тысяч жителей, и все родня... Так ты возвращаешься домой? Ну что ж, теперь это дело прошлое. Те, что на стенку лезли из-за твоей книги, забыли ее. Они будут рады

тебя увидеть... Городок у нас не бог весть что, ты не таких столиц насмотрелся. Шестьсот жителей. Главная улица, несколько магазинов и банк, две-три церкви, а больше ничего и нет... Да, сигарет можешь купить в аптеке. Там еще открыто, ведь нынче суббота. Советую надеть пальто. У нас тут три тысячи семьсот футов над уровнем моря, выше Алтамонта на тысячу футов, тут попрохладнее, чем у них, сам убедишься... И я с тобой пойду.

Вечер полнился бодрящим холодом горного мая, и сейчас, когда они вдвоем шли по улице, в крови у Юджина зазвенел какой-то нерв, словно знаменуя высокий душевный подъем. На улицу глядело несколько кирпичных магазинов, однообразие которых нарушала только уродливая баптистская церковь. В церкви горел свет, и единственный уродливый витраж, выходявший на улицу, изображал Христа милующего в холодных красках грубого стекла. Аптека была на углу, на перекрестке. Рядом помещалось кафе. Перед аптекой три или четыре древних, очень грязных «форда» были наискось причалены к тротуару. А чуть дальше, перед кафе, сгрудились несколько мужчин в комбинезонах, внимательно наблюдавших, как наблюдают зрители за карточной игрой. Из этой группы доносились отдельные слова, растянутые, по-горски спокойные, чем-то зловещие. Спутник Юджина запросто обратился к одному из мужчин:

— Что там случилось, Боб?

Ответ был уклончивый, небрежный, тоже по-горски спокойный: — Да не знаю я. Кажись, повздорили.

— Это кто? — спросил Юджин, входя в аптеку.

— Это Боб Крисмен. Говорит, кто-то с кем-то повздорила. Тед Рид тоже там — он мой троюродный брат — и опять пьян. Каждую субботу к вечеру так бывает. А они нынче днем ездили компанией на карьер и напились кукурузной водки... Ты что будешь пить? Кока-колу?.. Нам две коки и две пачки «Честерфильдских».

Пять минут спустя, когда они вышли из аптеки, в кучке наблюдателей на улице обозначилось чуть заметное волнение.

— Погоди минутку,— сказал Джо Пентланд.— Поглядим, что тут творится.

Все было тихо, как и раньше, но ожидающие теперь отступили к окну кафе, а перед ними двое стояли друг против друга. Один из них, в комбинезоне, сказал: — Послушай, Тед...

Другой был одет более изысканно — темные брюки и белая рубашка без воротничка. Шляпа сдвинута на затылок, и он стоял устремив тяжелый взгляд вперед, словно бодаясь угрюмым лицом с полусонными глазами, молчал, ждал.

— Послушай, Тед,— повторил тот, что был в комбинезоне.— Я тебе по-хорошему говорю... Это уж ты хватил через край... отвяжись от меня.

С полусонными глазами, смуглый, молчащий, с чуть отвисшей челюстью, немного капризный, как откормленный ребенок, красивый темной, грубой красотой, он словно бодается, пока противник угрюмо слушает, а остальные внимательно и жадно ждут.

— Отвяжись от меня, Тед. Я ссориться не хочу, так что ты отвяжись от меня.

В угрюмом молчании смуглое лицо по-прежнему ждет.

— Тед, я кому говорю... Шесть лет назад, когда ты меня обхамил, твои родные упростили меня забыть... Так хоть теперь отвяжись... Я ссориться с тобой не хочу, Тед, но это ты уже хватил лишнего... отвяжись от меня.

— Это Тед Рид и Эммет Роджерс,— хрипло сообщает Джо на ухо Юджину.— Опять сцепились. Шесть лет назад у них была драка. Тед Эммета обхамил, и с тех пор они каждую субботу такое устраивают. Тед напивается и задается, но куда там, он и мухи не обидит. Нет в нем такой силы, чтобы настоящую гадость сделать. К тому же Уилл Сэгс здесь, вон тот, в белой рубашке, это констебль. Уилл боится — это сразу видно. Но боится он не Теда. Видишь, позади Уилла стоит такой высокий, это Льюис Блейк, Тедов родич, вот его Уилл боится. Льюис из таких, что ни от кого ничего не стерпит, не будь его здесь, Уилл живо навел бы порядок... Минутку! Что-то начинается!

Быстрая перебежка, потом: — Будь ты проклят, Тед, отвяжись!

Теперь эти двое отделились от остальных, Тед кружит вокруг Эммета, и рука его медленно ползет по бедру назад.

Выкрик из толпы: — Берегись, у него пушка!

В руке Теда Рида матово заморгал синий металл, и все зеваки бросились в укрытие. Противники остались одни.

— Давай стреляй, будь ты проклят! Я тебя не боюсь.

Юджин метнулся в дверь аптеки, но кто-то кричит ему в ухо: — Лучше спрячься за машину, тут тебе никто не поможет.

Охваченный бездумным страхом, Юджин в два прыжка пересекает кусок открытого тротуара, и в ту же секунду первый выстрел разрывает воздух. Пуля просвистела перед самым его носом, и он скорчился за одной из машин. Осторожно выглянул и увидел, что Эммет медленно, со странной улыбкой на губах завершает круг, дразня противника приглашающим движением раскинутых ладоней:

— Стреляй, проклятый! Сволочь несчастная, я тебя не боюсь!

Вторая пуля разорвала покрышку на машине, за которой прячется Юджин. Он сползает ниже — еще выстрел, со свистом вырывается воздух из другой покрышки, и голос Эммета, издевательский, презрительный: — Стреляй же, будь ты проклят!

Четвертый выстрел.

— Давай, давай, я тебя не...

Пятый — и тишина.

Тогда Тед Рид не спеша проходит мимо ряда машин. Из-за них появляются люди и спокойно спрашивают: — Что случилось, Тед?

Отвечает угрюмо, держа револьвер дулом вниз, на высоте бедра:

— Хотел, вишь, со мной пошутить.

Другие голоса, перекликаются:

— Куда он ему попал?

— Под самым глазом. Он и не знал, чем его ударило.

— Ты бы лучше ушел, Тед. Тебя теперь будут искать. Все так же угрюмо: — Не желаю я, чтобы этот сопляк со мной шутил... Это кто? — И остановился, оглядывая Юджина с головы до пят.

Джо Пентланд, торопливо: — Не иначе как твоя родня, Тед... Мне-то он наверняка родня. Ну, знаешь, который написал ту книгу.

С медленной угрюмой ухмылкой Тед переложил револьвер в левую руку и протянул правую. Рука убийцы мясистая, сильная, чуть липкая, прохладная, влажная.

— Ну еще бы мне про него не знать. Я все твое семейство знаю. Но *про это* ты лучше в книжках не пиши, потому что иначе...

Другие голоса, утешают:

— Ступай-ка ты лучше отсюда, Тед, пока шериф не явился. Уходи, болван, уходи.

— ... потому что иначе,— мотнув головой, с хриплым смехом,— мы с тобой встретимся на узкой дорожке.

И опять врываются голоса: — На этот раз тебе не отвертеться, Тед. На этот раз ты хватил лишнего.

— Черт, найдете вы во всем Зебулоне таких присяжных, чтобы признали Рида виновным?

— Да уходи ты. Тебя будут искать.

— Нет такой тюрьмы, откуда Рид не сбежал бы.

— Ступай, ступай.

И он ушел, один, с револьвером в руке, с полусонными глазами и тяжелой челюстью, оставив позади кружок мужчин в синих комбинезонах и еще нечто на тротуаре, что за две минуты до того было существом их же породы.

Юджин видел все это и отвернулся. Свинцовая тяжесть легла ему на сердце. И снова он услышал отзвуки материнского голоса:

«Теперь там дикости совсем не осталось».

Наконец-то Юджин был снова дома, в Алтамонте, и сначала быть снова дома было хорошо. Сколько раз за эти семь лет он мечтал вернуться домой и пробовал вообра-

зить это возвращение! Теперь он вернулся и видел, чувствовал, знал, каково это на самом деле,— и все было не так, как он воображал. Очень мало было даже такого, что память сохранила не исказив.

Конечно, изменилось не все, кое-что осталось прежним. Он снова слышал все мелкие, знакомые звуки своего детства: вечерние звуки, голоса прощаний — «Доброй ночи!» под стук закрывающихся дверей, «Доброй ночи!» вдали и затихающий шум мотора, «Доброй ночи!» — и отходит последний трамвай, «Доброй ночи!» — и шелест кленовых листьев вокруг уличного фонаря на углу. Снова слышал в ночной тишине лай собаки, слышал, как маневрируют паровозы в депо, грохот колес по берегу реки, шум и позванивание длинных товарных составов и совсем далеко — разрываемый ветром слабый похоронный звон колокола. Снова видел, как первые голубые проблески утра обозначают контуры гор на востоке, и слышал первый крик пелуха точно так же, как тысячу раз слышал его в детстве.

И негритянский квартал совсем не изменился: так же бежала в негритянских глубинах сточная канава, желтая, полная мерзких отбросов. И запахи те же — кислый дух от железных стиральных чанов, смешанный с вонью сточной канавы и едкими испарениями дыма из негритянских хижин. И так же, несомненно, пахло внутри этих хижин — свиной, мочой, негритянским страхом и темнотою. Все это он помнил — запомнил, как гравюру тысячи зимних утр, когда двадцать пять лет назад, закинув на шею брезентовую петлю и пригибаясь под тяжестью почтовой сумки, отправлялся в негритянский квартал разносить газеты и по сто раз за утро слышал, как шлепаются последние известия с еще не высохшей краской о двери хижин и стонут во сне вонючие девки в глубинах спящих джунглей.

Это все осталось как было. Это никогда не изменится. А в остальном — что ж...

— Эй, Джин, привет! Ты, я вижу, располнел. Как дела?

— Отлично. Рад тебя видеть. Ты-то все такой же.

— Ты Джима уже видел?

— Нет. Он вчера заходил, но меня дома не было.

— Так Джим Ортон везде тебя ищет — он, и Эд Слейден, и Гершель Брай, и Холмс Бенсон, и Брэди Чалмерс, и Эрвин Хайнс. Э, да вот он, Джим, и с ним вся орава.

Хор голосов, смех, приветствия, и все высыпают из машины, притормозившей у тротуара.

— Вот он, злодей! Ура, вот мы его и поймали!.. Решил, значит, вернуться домой? Что ты там сказал про меня в своей книге, что свою вульгарную сущность я прячу за сердечным смехом?

— Но ты послушай, Джим, я... я...

— «Я... я...», ну тебя к черту.

— Я не имел в виду...

— Не имел? Так-таки не имел?

— Дай объяснить...

— К черту, что тут можно объяснить? Ты в этой книге и первых слов не написал. Раз ты задумал писать *такую* книгу, почему не сказал мне? Я бы тебе такого рассказал про некоторых наших сограждан, о чем ты и не слыхивал... Вы посмотрите на его лицо! Теперь попался, голубчик... Да брось ты кукситься. Это теперь все забыто. Сначала многие, правда, сердились. Некоторые грозились до тебя добраться. Может быть, правда, шутили...

Смех, потом хитрый голос: — Ты Дэна Фейгана видел?

— Нет, а что?

— Да ничего, я просто подумал. Только он...

— Да ничего он не сделает. Никто ничего не делает. Сегодня сердятся те, о ком ты умолчал.

Снова смех.

— Черт, и правда! Остальные гордятся. Мы все тобой гордимся, сынок. Мы рады, что ты вернулся домой. Слишком долго пробыл в отлучке. Теперь оставайся с нами.

— А-а, сынок, привет! Рад тебя видеть... У нас тут

много перемен. Город сильно похорошел за то время, что тебя не было. И новое здание суда построили, и новый совет округа, за четыре миллиона долларов отгрохали. И видел, какой туннель проложили под горой для новой дороги? Еще два миллиона. А средняя школа, а младший колледж и новые улицы и прочие новшества? А эта площадь? Красиво тут стало, как ее оформили — клумбы с цветами, скамейки, чтобы отдыхать. Это вот городу больше всего нужно — парки, новые развлечения. Если мы надеемся привлекать сюда туристов, превратить этот город в туристский, надо позаботиться о развлечениях. Я это всегда говорил. Но в муниципалитете сидят одни недоумки, они этого не понимают. Вот туристы здесь и не задерживаются. Раньше приезжали, жили по месяцу. Ты-то это знаешь, сам писал, как они сидят на верандах пансионеров. Приезжали, и сидели, и качались в качалках на верандах, и жили по месяцу, откуда только не ехали — из Мемфиса, Джексонвилля, Атланты, Нового Орлеана. А теперь их больше нет. Все обзавелись машинами, и дорог хороших повсюду полно, вот они одну ночь переночуют, а завтра — дальше, в горы. И не осудишь их, нет у нас развлечений... Да, я еще помню, как здесь был спортивный центр. Все богачи сюда приезжали — миллионеры, лошадаики. И было семнадцать салунов — Малона, и Крисмена, и Тима О'Коннела, и Блейка, и Карлтона Ледергуда — туда твой отец ходил, они с Ледергудом дружили. Ты помнишь, у Ледергуда были такой долговязый меченый оспой желтый негр и собака пятнистая? Теперь ничего этого не осталось — все умерли, забыты... Вот тут стояла мастерская твоего отца. Помнишь ангела на крыльце, а на ступеньках сидят возчики, а в дверях стоит твой отец, а там, через улицу — старая кутузка. Сейчас-то красиво, где была кутузка, там трава, цветочные клумбы, но вся площадь какая-то куца стала, с одного конца пустая. И странно — где раньше была мастерская твоего отца, вымахал домина в шестнадцать этажей. Но что ни говори, все-таки многое стало лучше... Ну ладно,

пока прощай. Тебя весь город хочет видеть, не стану тебя задерживать. Заглядывай ко мне. Моя контора на одиннадцатом этаже, прямо над тем местом, где стоял станок твоего отца. Я тебе такой вид покажу, какой тебе и не снился, когда твой отец мастерил тут надгробья.

Возвратился блудный сын, и весь город звенит приветствиями, а новое, вечно новое младшее поколение глазет, разинув рот:

— Вернулся... Ты его уже видела? Который?

— Неужели не видишь, он со всеми разговаривает... Вон — вон там, где чистильщик обуви.

Девичий голос, очень разочарованный:

— О-о, так это он? Да он *старый!*

— Не скажи, Юджин не такой уж старый, тридцать шесть лет. Это тебе, голубка, он кажется старым. А я его помню курносый мальчишкой, бегал по улицам, продавал «Сатердей ивнинг пост» и в негритянский квартал носил «Курьера».

— Но... да нет, у него талия толстая... И вот пожалуйста, он снял шляпу, да у него лысина! О-о, вот уж не думала я...

— А что ты думала? Человеку тридцать шесть лет, красавцем никогда не был. Просто Юджин Гант, курносый мальчишка, когда-то снабжал газетами негритянский квартал, а мать у него держала пансион, а отец — мастерскую надгробий на площади. А теперь посмотри-ка на него! Курносый мальчишка уехал куда-то, написал пару книжек — и вот полюбуйтесь! Ему проходу не дают! Когда-то обзывали по-всякому, а теперь друг дружке на голову лезут, только бы пожать ему руку.

А там, через улицу:

— Хелло, Джин!

— Хелло... ой, хелло, ой...

— Ну же, давай, хелло — кто?

— Ну, хелло, ну...

— Убью, если не назовешь меня по имени. Посмотри на меня. Ну, так кто? Хелло — кто?

— Да я...

— Ну же, давай! Ты мне вот что скажи: кто в этой книге называл тебя «Джоко»?

— А-а, Сид! Сидни Пертл!

— О черт, наконец-то!

— Сид, ну как ты? Черт, я тебя узнал сразу, как только ты со мной заговорил.

— Рассказывай!

— Просто не мог сначала... О, хелло, Карл. Хелло, Вик. Хелло, Гарри, Док, Айк...

Кто-то потянул его за рукав, он обернулся.

— Да, мэм?

Дама заговорила сквозь искусственные зубы, почти не разжимая губ, чопорно и очень торопливо:

— Юджин вы меня конечно не помните я мама Лонга Уилсона вы с ним учились в школе на Плам-стрит учительница у вас была мисс Лиззи Муди и вы...

— Да, конечно, миссис Уилсон. Как Лонг?

— Очень хорошо благодарю вас я вас сейчас не буду задерживать я вижу вы тут с друзьями вас конечно все хотят повидать вам дохнуть некогда но когда-нибудь когда будете свободны мне бы хотелось с вами поговорить моя невестка очень талантливая она раскрашивает скульптуры и пишет пьесы она мечтает с вами познакомиться она написала книгу и говорит что ее жизненный опыт так похож на ваш что у вас с ней несомненно много общего вам бы надо встретиться и обсудить это...

— О, я с удовольствием, миссис Уилсон, с удовольствием.

— Она уверена если б вы с ней побеседовали вы могли бы кое-что посоветовать ей насчет ее книги и помочь ей найти издателя знаю вас столько народу осаждают у вас ни минуты свободной но вам бы только с нею поговорить...

— Да я с радостью.

— Она особа очень интересная и если бы вы у нас как-нибудь побывали я знаю...

— Да, непременно. Большое вам спасибо, миссис Уилсон. Непременно, непременно.

И дома:

— Мама, мне звонили?

— Ой, сын, весь день звонили. Я такого и не запомню. Сью Блек звонила, просила, чтобы ты, как придешь, ей позвонил, и Рой Хичебранд, и Хауорд Бартлет — и еще какая-то дама из Биг Хоминга. Говорит, что написала книгу и приедет с тобой повидаться. Ей нужно, чтобы ты прочел ее книгу, и покритиковал ее, и сказал, как ее исправить, чтобы она продавалась. И еще — честное слово — звонил Фред Паттон, от Делового клуба, хотел узнать, согласен ли ты выступить у них на завтраке в будущий вторник. По-моему, сын, не отказывайся. Они там все люди хорошие, основательные, пользуются уважением. Если ты думаешь и дальше писать книги, к таким стоит держаться поближе... И еще — ах да! — звонил кто-то из госпиталя для ветеранов, какая-то девица, фамилия не то Лейк, не то Лейп, что-то в этом роде, она училась с тобой в одном классе в школе на Плам-стрит, а там заведует сектором отдыха для ветеранов, говорит, многие из них читали твои книги и хотят тебя повидать, приглашает в субботу вечером быть у них почетным гостем. Хорошо бы ты поехал, сын. Живут там эти бедняги почти все вдали от дома, многие никогда и не вернутся туда, откуда уходили. Это бы их развлекло... И вот еще, честное слово! — звонил Сэм Колтон от университетского комитета питомцев, те хотят, чтобы ты выступил на будущей неделе на слете питомцев в Загородном клубе. Да, чуть не забыла, ты приглашен выступить в одной программе с «нашим Диком» — это Ричард А. Уильямс, член Сената Соединенных Штатов, не как-нибудь! Сэм говорит, вы с ним два самых знаменитых питомца, каких породил наш город. Гм... Еще Джимми Стивенсон, тот звонил, звал тебя на

охотничий обед, который Ассоциация бизнесменов устраивает в хижине Шарпа на речке Битри, в девяти милях от Гаджертонна. Я бы съездила обязательно. Я там никогда не была, но говорят, хижина у Эда Шарпа замечательная, лучшая во всем округе, в самом сердце Страны чудес, посреди дивных гор. Я про эти края слышана, туда мои родители уехали девяносто лет назад, сразу, как поженились — переехали из Зебулона, — но прожили там недолго, не иначе как потянуло обратно в Зебулон ко всей тамошней родне, но красивее местечка не сыскать, сколько ни ищи, в самом сердце природы, и рядом — старая таверна Крагги. Вот куда я поехала бы, если б была писателем и мне потребовалось вдохновение. Ближе к природе, как говорится, ближе к богу... Так, еще два молодых человека звонили из Теннесси, говорят — они мальчики Блекли. Слышал небось про консервные заводы Блекли, им, говорят, принадлежат чуть не все фермы в трех округах, и заводы по всему Теннесси, и дальше на юг, и на Среднем Западе тоже. Они миллионов стоят. Говорит — по голосу совсем еще мальчик, а говорит так хитренько: «Это мисс Делия?» — называет меня так, как ты назвал меня в своей книге. Ну, я ему подыграла. Насчет этого, говорю, не знаю, меня зовут Элиза. Слышала, что меня называли Делия, но не всему верь, что читаешь, говорю. Как знать, может быть, я такой же человек, как все: вот хоть нынче утром, говорю, я очень внимательно разглядела себя в зеркале, и если у меня растут рога, значит, я их проглядела, я рогов не видела. Я, конечно, старею, и зрение у меня, может, не прежнее, но вы-то, говорю, молодые, и глаза у вас здоровые, так вы бы приехали и взглянули и сказали мне ваше мнение. А он, понимаешь, рассмеялся в телефон и говорит: «Ну вы даете. Я такого мнения, что вы молодец. А я стараюсь стать писателем — даром что папаша мой помидоры консервирует, — и считаю, что ваш сын — один из лучших наших писателей». Ну, я, конечно, и бровью не повела. Отец всегда нас учил, что хвастаться тем, что у тебя

есть, вульгарно и невоспитанно, вот я и сказала только, что насчет этого не знаю. Но вы, говорю, приезжайте, поглядите на него. До двенадцати лет, говорю, был хороший нормальный паренек, как все. А уж после этого — мне, понимаешь, захотелось с ним пошутить, — после этого не знаю, что случилось, я за это не в ответе. Но вы приезжайте, говорю, сами увидите. Может, удивитесь. Может, обнаружите, что у него тоже нет рогов. Он пуще хохочет и говорит: «Ну вы молодец. А я вас сейчас поймаю на слове. Мы с братом завтра днем будем в ваших краях и увезем его с собой. Если ему нужна хижина, я что-то такое слышал, у меня есть лишняя, могу ему уступить, потому что мы потом привезем его обратно». Ну, этого ты, конечно, не допустишь, сын, но вообще-то с ними будь полюбезнее. Говорит он как прекрасно воспитанный юноша, а эти Блекли из тех людей, с какими стоит зняться... Потом еще звонили всякие девицы, слышали, мол, что тебе нужна машинистка, предлагали свои услуги, уверяли, что печатают очень хорошо. Одна заявила, что готова работать даром, говорит, что хочет стать писательницей и может многому у тебя научиться, это ей будет вроде вдохновения. Ну, с этой я живо разделалась, это надо же выдумать, работать, вишь, хочет даром и еще про вдохновение болтает. Этой-то понятно, что нужно, ты смотри, сын, а то какая-нибудь такая дурочка тебя и подцепит... А еще знаешь кто заходил? Кэш Хопкинс, спрашивал про тебя. Он, конечно, человек простой, рабочий. Когда-то подрабатывал у твоего отца, но отец к нему хорошо относился, и он всегда был нам другом, всеми вами интересовался. И мистер Хиггинсон заходил, это епископальный священник, он сюда приехал несколько лет назад, ради климата — а сам здоров как бык, он с самого начала взял твою сторону. Когда все наши проповедники тебя ругали и говорили, что попробуй ты вернуться и тебя убьют, он тебя *защищал*! Заступался за тебя! Прочел все твои писания и заявил: «Этому юноше следовало бы стать священником. В его книгах больше

истинной веры, чем у всех нас, проповедников, вместе взятых». Да, горой за тебя стоял. Это, говорит, не он согрешил, а мы! Уж ты, сын, обойдись с ним по-хорошему, он с самого начала был тебе другом, и он, как говорится, ученый человек и добрый христианин... И боже ты мой, как же я забыла, жаль, тебя не было, а мне, честное слово, пришлось отвернуться, чтоб не рассмеяться... Кто? А Эрнест Пеграм собственной персоной, в большом автомобиле, сидит в новеньком «кадиллаке» толстый как свинья, а изо рта вот такая сигара торчит. Ну да, он-то теперь богатый. Он обеспечен, как и все Пеграмы. Понимаешь, Уилл Пеграм скончался два года назад где-то там на Севере, он был богатый человек, крупный чиновник в какой-то важной корпорации. Он один из всех Пеграмов и уехал отсюда. Но бедный Уилл! Я-то помню, как он отсюда уезжал, больше сорока лет назад, эта корпорация и предложила ему работу в восточной части штата, а он, что называется, был гол как сокол. И вот два года назад он умирает и оставляет капитал около миллиона долларов. Вот они и обеспечены. Детей у Уилла не было, все осталось братьям и сестрам. Эрнесту он завещал круглых сто тысяч — это не враки, я в газетах читала, да Эрнест и сам мне говорил. И остальных не обидел. И вот мы все сидим на бобах, весь город разорился, все всё потеряли, так и в Библии сказано: «Как пали сильные!», а у Пеграмов больше никаких забот. И вот, значит, Эрнест сегодня подкатил к дому в своем большом новом автомобиле и курит шикарную сигару. Я ему говорю: «Эрнест, вид у тебя процветающий, ты все по паяльному делу?» Я-то, конечно, знала, что нет, просто интересно было, что он скажет. Нет, говорит, Элиза, и сигарой пыхтит, ну прямо красота. Нет, говорит, я достиг того возраста, когда пора и уйти на покой. Слышишь? На покой! Хотела бы я знать, на что бы он жил, на кое-то, если бы не Уилл? А он — да, да, слушай внимательно, он и говорит: передай, говорит, Джину, что делать мне совершенно нечего. Я целыми днями свободен, и если он ку-

да хочет съездить, куда я мог бы его свозить, вот, говорит, моя машина к его услугам. Ты знаешь, он ведь всегда был добрая душа. Наверно, вспомнил те дни, когда жил рядом с нами на Вудсон-стрит и все вы, дети, росли у него на глазах. Пеграмы всегда были нам друзьями и очень интересовались твоей карьерой. Пока ты здесь, сын, прошу тебя, повидай их всех. Они будут рады. Но когда я увидела Эрнеста в его машине, и как пыхтит сигарой, а сам, как говорится, поперек себя шире, и объясняет мне, что ушел на покой,— ну, тут пришлось отвернуться, чтобы не увидел, что я смеюсь... Да, такого я не zapomню. Так с утра и шли и ехали без перерыва и телефон звонил как заведенный. Честное слово, мне сейчас кажется, что все в городе либо побывали здесь сегодня, либо звонили. И... ах да! Там на зимней веранде и сейчас двое ждут — старый капитан Фицджеральд и какая-то мисс Морган, медицинская сестра. Что им нужно — не знаю, они уже час как ждут, так что ты, пожалуйста, выйди к ним и хоть поздоровайся... И еще в гостиной, там их трое — одна дама, говорит, она из Чарлстона, читала твои книги, и проездом оказалась у нас, и слышала, что ты дома, и хотела пожать тебе руку, и Типтон, ты его когда-то знал, и — честное слово! — репортер из газеты, он тоже здесь. Наверно, мечтает об интервью, так что ты уж пойдй к ним сразу... Ох, горюшко, опять телефон! Одну минуту, сын, сейчас подойду.

Чикамога

Седьмого августа тысяча восемьсот шестьдесят первого года мне было девятнадцать лет от роду. Если я дотяну до седьмого августа нынешнего года, мне будет девяносто пять — а утро сегодня такое, что я не намерен сдавать позиции. Думаю, теперь тебе ясно, что с тех пор много воды утекло.

Я родился севернее: в Ручьях на Тоу-Ривер, в тысяча восемьсот сорок втором году. И твой дед, паренек, родился там же — в тысяча восемьсот двадцать восьмом. Отец наш, Билл Пентланд — тебе он приходится прадедом, — попал в те края давно, сразу после революции, и поселился в Ручьях на Тоу-Ривер. Вообще-то индейцы называли ее Эстатой, ну а белые для краткости — просто Тоу; так оно по сей день и осталось.

Понятное дело, в те времена там жили сплошь одни индейцы. Я слышал, что чероки помогли отцу Билла Пентланда построить тот самый первый дом, в котором кое-кто из нас появился на свет. А еще я слышал, что дед Билла Пентланда поселился в Америке до революции: он приплыл из Шотландии вместе с двумя братьями. Вот откуда взялись все американские Пентланды. Так что если встретишь где-нибудь Пентланда, будь уверен — это потомок одного из тех троих.

Ну, стало быть, седьмого августа тысяча восемьсот шестьдесят первого года мне было девятнадцать лет от роду. В полвосьмого утра седьмого августа я вышел из дому и отправился пешком аж в самый Клигман. Джим Вивер накануне вечером прибыл из Биг-Хикори — он там жил —

и остался у меня ночевать. А утром мы пошли вдвоем. Он был моим лучшим другом. Мы с ним выросли вместе, а теперь нам предстояло вместе исходить один бог знает сколько бесконечных, пыльных дорог — правда, в то утро мы об этом еще не догадывались.

До Клигмана было добрых двадцать миль — я думаю, нынешней молодежи двадцать миль показались бы очень неплохим концом. Но тогда считали, что это сущие пустяки. Все мы были отменными ходоками. Тот же Джим Вивер мог идти целый день и ни разу не остановиться передохнуть.

Джим был рослый, а я низенький, вроде как сейчас — правда, с тех пор я еще маленько усох, — однако я от него ни на шаг не отставал. Мы пришли в Клигман еще до двенадцати, хотя солнце пекло вовсю, а в три часа пополудни нас обоих уже зачислили в Двадцать девятый. В этом полку я и служил до самого конца войны. В общем, как бы то ни было, а в тот день, девятнадцати лет от роду, я стал солдатом и потом не видел родного дома долгих четыре года.

Твой дядя Бахус, паренек, был уже в Виргинии: мы знали об этом, потому что получили от него письмо. Он воевал в Четырнадцатом полку с самого начала. Он уже успел побывать в первом бою при Манассасе и с тех пор не пропустил, по-моему, ни одного крупного сражения в Виргинии за все четыре года — разве что после Антьетэма, когда его ранили и ему пришлось проваляться четыре месяца.

Уже в те годы у дяди Бахуса были странные убеждения по части религии — ты о них слышал. Пентланды — хороший народ, но спроси у кого хочешь: они малость тронутые, когда дело касается религии. Это про них давно известно. Вот и Бак был такой же. Уже тогда он стал расселлитом*; он считал, что конец света близок, и очень боялся прозевать этот ответственный момент. Такая у него

* Членом Общества свидетелей Иеговы. Иеговисты верят в грядущую войну между Христом и сатаной — Армагеддон.

была теория. Он еще до войны без устали пророчествовал и обещал светопреставление, а когда война началась — тут Бак сразу понял, что это оно и есть.

Да что говорить! Он ни за какие коврижки не пропустил бы этой войны. Бак пошел на войну не затем, чтобы убивать янки. Никого он не хотел убивать. Он был мягкосердечный, как ребенок, и отважный, как лев. Ребята потом рассказывали, как наткнулись на него при Геттисберге: он стрелял из-за каменного укрытия, и винтовка так раскалилась, что Баку пришлось опустить ее наземь и вытереть руки об штаны — ладони были все в волдырях. Он пел псалмы, говорили ребята, слезы лились у него ручьем — уж не знаю, правда ли, нет ли,— и с каждым выстрелом он начинал новый стих. И я тебе скажу, на счету у него немало убитых, потому что с винтовкой в руках Бак промаху не давал.

Но он был добрый человек. Он бы и мухи не обидел. Помоему, он пошел на войну только затем, чтобы поспеть к Армагеддону. Такая уж у него была теория. Когда пришла война, Бак сказал: «Вот оно — началось, тут уж не зевай. Пробил час,— сказал он,— и скоро на земле будет царствие божие, и господь соберет овец одесную, а козлиц — ошуюю, как и было предсказано,— и уж я-то этого не прозеваю».

Ясное дело, мы не стали спрашивать, по какую сторону от господа бога окажется он сам, потому что все и так это знали. Бак окажется среди овечек — по крайней мере, такая у него была теория. Он оставался верен ей до самой смерти, а умер он десять лет назад. И до самого конца он пророчествовал и обещал светопреставление. Что бы ни творилось вокруг, сколько бы раз он ни ошибался — ничего на него не действовало. Сначала он говорил, что война — это и есть Армагеддон. А когда предсказание не сбылось, стал говорить, что конец наступит в восьмидесятые годы. А когда не сбылось и это, он передвинул его на девяностые. Ну, а в тысяча девятьсот четырнадцатом, когда разразилась новая война и затянула весь мир, Бак, конечно, был уверен, что это, наконец, случилось.

И как бы оно ни повернулось в конечном счете, Бак

гнул свою линию и ошибок своих не признавал. Скажет разве: допустил, мол, ошибку в расчетах, но теперь все ясно и в следующий раз не оплошаю. И он оставался таким до конца.

Мне бы впору посмеяться, когда я узнал о его смерти: ведь Бак думал, что с человеком после смерти ничего не случится еще тысячу лет. Лежишь себе, значит, в могиле и дрыхнешь, пока Христос не придет и не пробудит тебя. Вот почему мне бы впору посмеяться. Я бы ничего не пожалел, только б оказаться там на следующее утро, когда Бак проснется и обнаружит, что он уже на небесах. Я бы ничего не пожалел, лишь бы взглянуть на его физиономию. Придется чуток обождать, зато я здорово посмеюсь, когда мы с ним встретимся. Только он и тогда будет гнуть свою линию. Найдет какую-нибудь причину и скажет, что ошибся малость в сроках.

Но Бак был хороший человек — таких, как Бахус Пентланд, еще поискать надо. И недостаток у него был только один: он взял и поверил невесть во что, да так, что не переубедишь.

Ну вот, значит, Бак был в Четырнадцатом. А Сэм и Джордж — ты им обоим приходишься племянником — в Семнадцатом; все трое воевали под командованием Ли в Виргинии. За четыре года я ни разу не видел Бака с Сэмом и ничего о них не слышал. Пока в шестьдесят пятом не вернулся домой, я даже не знал, живы они или нет. И уж конечно, ничего не слыхал про Джорджа, пока мне не написали после Ченселорсвилля. Тогда я и узнал, что он погиб. Потом, дома, мне рассказали, что он уложил семерых. Его хотели взять в плен. Но он не сдался, и пришлось с ним покончить. Такой уж был человек. Ни за что бы не сдался. Рассказывали, что его, мертвого, вытащили из-под целой груды мертвых янки. Тут Джорджа сразу опознали. Такой уж он был, Джордж. Ни за что не уступит.

Он похоронен на кладбище конфедератов в Ричмонде, Виргиния. Больше двадцати лет назад по дороге в Геттисберг на юбилейную встречу ветеранов туда наведался

Бахус. Он разыскал его могилу и выяснил, где Джордж воевал.

Вот и мы с Джимом думали, что окажемся там же. То есть в Виргинии, вместе с Ли. Так мы думали, когда нас включили в списки. Только вышло совсем не так, как мы думали,— вот сейчас я тебе расскажу.

Ротным у нас был Боб Саундерс, батальоном командовал Л. С. Макинтайр, ну а полковника нашего звали Леандер Бригс. В Клингмане мы проторчали две недели. Потом нас перебросили в Алтамонт и муштровали еще два месяца. Гоняли нас там, где сейчас находится Паркер-стрит. Тогда на ее месте была голая равнина. Ее застроили позже. А сейчас посмотреть — ни за что не скажешь, что там было чистое поле. Но ведь было же!

В конце октября муштра закончилась и мы выступили в поход. В этот день Марта пришла пешком из Зебулона попрощаться с Джимом Вивером. Они были знакомы всего два месяца: он встретил ее как раз на той неделе, когда мы записались добровольцами, и я при этом присутствовал. Родом она была с Кэйн-Ривер, а в Клингман, к подружке, приехала погостить: недалеко от города разбили лагерь евангелисты, и ей хотелось послушать проповеди,— поэтому они с Джимом и повстречались. Шли мы как-то вечером мимо одного дома — солнце садилось, и мы шли на закат,— а на крылечке стоит она вместе с другой девушкой. Помню, они еще облокотились на перила. Та, другая, была блондинка, а она — брюнетка: черные волосы и черные глаза, пухленькая, небольшого роста, но сложения самого что ни на есть подходящего, а лицо и зубки прямо-таки белоснежные — и ямочки на щеках, как улыбнется.

Ну мы-то их не знали, так что не могли остановиться и заговорить, но когда Джим увидел ту, что поменьше, он сразу встал как вкопанный и уставился на нее, ей даже отвернуться пришлось. Ну ладно, прошли мы подальше, Джим опять обернулся на нее посмотреть, и надо же, поймал ее взгляд: она смотрела вслед. А потом вспыхнула и отвернулась снова.

Тут он и слопал наживку. Да чего там! Он и слова не сказал, но я-то видел, как он весь задергался, точно рыбка на крючке, и сразу понял, что она его подцепила. Мы повернули, прошли еще немного, а потом он остановился, поглядел на меня и говорит:

— Ты видел эту девушку?

— Которую — светленькую или темненькую?

— Ты прекрасно знаешь какую, — говорит Джим.

— Ну, видел. А что? — говорю я.

— Да нет, так — просто я на ней женюсь, — говорит он.

И я понял, что Джим попался. Но уж никак не мог поверить, что надолго. Потому что у Джима было столько девушек — это у меня раньше ни одной не было, а у него!.. Да он менял их каждую неделю. У нас в компании были симпатичные ребята, но красивее Джима Вивера я в жизни не встречал. Высокий, стройный, как тростинка, и сложен здорово; и волосы черные, и глаза черные как угли: поглядит на тебя и словно прожжет насквозь. И, скажу я тебе, до встречи с Мартой Пэтон под его взглядом заполыхало не одно девичье сердечко. Он всегда выбирал самых лучших — прирожденный сердцеед, второго такого не сыщешь, — и я был уверен, что это ненадолго.

Наверно, лучше бы так оно и оказалось. Потому что до того дня, когда Джим Вивер впервые увидел Марту Пэтон, он был самым беззаботным парнем на свете. Ему на все было наплевать, лишь бы повеселиться: всегда готов на любую проделку, на любое дурачество. А тут он совсем переменялся. И я всегда думал, что это, может быть, произошло некстати: уж больно не ко времени. Если бы это случилось несколькими годами позже... Если бы это случилось после войны! Он так хотел пойти на войну, он думал: вот будет потеха, — но теперь!.. Он привязался к ней, а она — к нему; когда мы покидали город, он взял с нее слово и медальон с портретом и маленькой черной прядкой, а когда наша колонна тронулась — Джим шел рядом со мной, — она взглянула на него последний раз, и он опять дернулся, точно его полоснули ножом.

С тех пор он совершенно переменялся; с тех пор он жил словно в кошмарном сне. Удивительно, как все повернулось: ну просто ничего общего с тем, что мы себе представляли. Удивительно, как война и маленькая черноволосая девушка могут изменить человека,— но об этом-то я и хочу тебе рассказать.

Ближайшая железнодорожная станция, Локаст-Гэп, была за восемьдесят миль от Алтамонта. Мы отправились по дороге на Фэрфилд — вдоль реки вверх, мимо Крествилля,— перевалили через Блю-Ридж и спустились в долину. В первый же день мы пришли в Олд-Стокейд и остановились там на ночлег. Мы протопали по горам двадцать четыре мили, а дороги тогда были не те, что нынче. И скажу я тебе, для новобранцев, у которых за плечами всего два месяца службы, это вполне прилично.

Мы прибыли в Локаст-Гэп через три с половиной дня, и видел бы ты, какую нам устроили встречу! Веселья и шуму было хоть отбавляй. Все женщины и детишки выстроились вдоль дороги, музыка гремела, мальчуганы бежали за нами следом — а у нас сапоги блестят, обмундирование новенькое, в общем, парни хоть куда, словно на пикник собрались! И такое чувство было у многих ребят. Мы думали вволю повеселиться. Если б знать, что ждет впереди и на кого мы будем похожи четыре года спустя — толпа огородных пугал, босиком, в лохмотьях и еле ноги передвигают,— надо бы не раз призадуматься, прежде чем записаться добровольцем.

Господи боже, подумать только! Когда я говорю об этом, у меня просто не хватает слов. Подумать только, каким я был тогда, вначале,— и каким стал через четыре года! На войну я отправлялся обыкновенным деревенским мальчишкой, который и кошки бы пальцем не тронул. А после войны я мог бы спокойно стоять и смотреть, как убивают человека, и глазом бы не сморгнул, точно режут свинью. По мне, человеческая жизнь была не дороже воробьиной. Да, я видел целое поле акров в десять, сплошь усеянное трупами,— можно было пройти его из конца в конец и ни разу не сту-

пить на землю.

Тогда-то я и сделал крупную ошибку. Если б мне в ту пору знать побольше, если б после возвращения хоть чуток повременить — все было бы в порядке. Я жалею об этом всю жизнь. Я не получил никакого образования. До войны у меня просто не было возможности. Когда вернулся — можно было пойти учиться, да я не пошел. А получилось так потому, что я в жизни ничего не повидал, кроме убийств и сражений, вот мне и было на все наплевать. Я сам был какой-то пустой и ооченелый, словно мне вышибли мозги. Единственное, чего я хотел, — чтоб мне дали клочок земли и оставили меня в покое.

Да, я сделал большую ошибку. Надо бы потерпеть. Я женился слишком рано, а потом пошли дети, и надо было рыть землю, чтобы не умереть с голоду. Но если б я малость потерпел, было бы гораздо лучше. Ведь и года не минуло, как все встало на свои места. Здоровье вернулось ко мне, я снова обрел почву под ногами, а сметки и доброты мне тогда было не занимать как раз потому, что я видел столько страданий. Голова у меня работала как никогда, и с таким жизненным опытом я бы выучился в два счета. Но после войны я не мог ждать. Я не думал, что когда-нибудь станет по-прежнему. Я просто вымотался.

Как я уже говорил, мы добрались до станции Локаст-Гэп меньше чем за четыре дня, и оттуда нас отправили на поезде в Ричмонд. Мы прибыли в Ричмонд на рассвете и все еще думали, что нас пошлют на север — там была армия Ли. Но на следующее утро получили приказ двигаться на запад. В Кентукки шли бои; нашим там приходилось туго, и мы должны были остановить армию северян у реки Камберленд. Тогда я и распрощался со старушкой Виргинией. С тех пор мы воевали только на западе и юге. Он оставался там, наш Двадцать девятый, с начала и до конца.

До весны шестьдесят второго мы не участвовали в крупных битвах. А без этого настоящим солдатом не станешь. До тех пор были только мелкие стычки в Теннесси и Кентукки. Зимой мы узнали, что такое холод, ветер и дождь

в открытом поле; мы поняли, что значит голодать, довольствуясь скудным походным пайком, и привыкли потуже затягивать пояса. Вот тогда нам стало ясно, что война — не увеселительная прогулка. Время не прошло для нас даром, но мы еще не были солдатами. Чтобы стать солдатом, нужно побывать в хорошем, крупном сражении, а его-то мы и не видели. В начале шестьдесят второго мы едва не попали в переделку. Нас послали освобождать Донельсон от осады, но вот оказия: не успели мы добраться до места, как он уже был взят! Сейчас я расскажу тебе эту историю.

Донельсон осадили войска генерала Гранта, и нужно было поспеть туда, пока старый мясник не вошел в город. Нам осталось всего семь миль пути, и день клонился к вечеру — переход был тяжелый. Мы получили приказ остановиться на отдых. И тут я услышал выстрелы и понял, что Донельсон пал. Шума битвы не было. Тишина стояла как в церкви. Мы сидели на обочине, и я услышал раскаты пушечных выстрелов. Прогремело пять раз, с расстановкой, вот так: бом! бом! бом! бом! бом! И меня осенило. Я повернулся к Джиму и сказал:

— Все, приехали! Это Донельсон — он взят!

А капитан Боб Саундерс не поверил мне и говорит:

— Да ну, брось!

— Знаешь,— сказал Джим,— я надеюсь, что он прав. По мне, хоть бы вся эта проклятая война провалилась к дьяволу. Я готов вернуться домой.

— Он ошибается,— возразил капитан Боб,— бьюсь об заклад, что ошибается.

Что ж, это меня устраивало. Со мной тогда вообще творилось что-то странное — с самого начала войны и до самого конца. Если у нас затевали веселую проделку, или шла игра в карты, или заключали пари, или еще как-нибудь валяли дурака — я был тут как тут. Я бы побился об заклад, что красное — это зеленое, что день — это ночь, а если бы я увидел девушку даже на верху высоченного дерева — да она бы чихнуть не успела, как я был бы уже там! И таким я оставался всю войну. Я в жизни не спорил и не играл

в карты ни до, ни после войны, но во время войны был готов на все.

— Сколько ставишь? — спросил я.

— Ставлю сотню долларов, один к одному,— сказал Боб Саундерс, и не успел он рта закрыть, как мы ударили по рукам.

Мы выложили деньги, и Джим забрал их на хранение. И вот не прошло и получаса, как с той стороны прискакал верховой и сообщил: можно поворачивать обратно, форт Донельсон пал.

— Что я говорил? — сказал я капитану Саундерсу и положил денежки в карман.

Ох и посмеялись мы над ним. Видел бы ты его физиономию — баран бараном. Но он признал свое поражение, что ж тут поделаешь?

— Ты был прав,— ответил он.— Выигрыш твой. Но послушай-ка, что я тебе скажу,— и он вынул пачку бумажек,— вот последние сто долларов, больше у меня ничего не осталось. Ставлю их и предлагаю тянуть карты — у кого старше, тот и выиграл!

Я не возражал. Я шлепнул на кон свою сотню и говорю: — Давай колоду!

Нам принесли колоду, Джим Вивер перетасовал ее и предложил тянуть. Боб Саундерс тянул первым и вытянул восьмерку пик. Я перевернул свою карту — дама.

Да, сэр, поглядели бы вы на Боба Саундерса! Ребята так его засмеяли, что он готов был сквозь землю провалиться. Мы все от души повеселились, а потом я, конечно, вернул деньги. Я всегда возвращал выигрыши до последнего пенни.

Да, со мной происходило тогда что-то неладное: я был готов на любую аферу. Только у нас запахнет приключениями — я тут как тут и сразу оказываюсь в числе заводил.

Так вот, битва за Донельсон была самой забавной за всю войну: сплошное веселье, и ни одной царапинки. Как раз то, что мне надо. А сражение на Стоун-Маунтин было самым необычным, потому что... Ну да я тебе расскажу про этот

удивительный бой, а ты уж прикинь, слышал ли ты о чем-нибудь подобном.

Ты когда-нибудь слышал о битве, в которой одна из сторон не сделала ни единого выстрела и победила, да еще нанесла противнику такой сокрушительный урон, словно у нее было пушек видимо-невидимо? Это и есть битва на Стоун-Маунтин. Я побывал во многих боях. Но бой на Стоун-Маунтин — самый необычный за всю войну.

Вот как это было.

Мы укрепились на горке, а янки были внизу: они хотели выбить нас оттуда и овладеть высотой Стоун-Маунтин. Мы не могли поднять наверх пушки, да и не пробовали, это оказалось ни к чему. Там было только одно орудие — маленькая латунная гаубица, мы втащили ее на канатах, но так ни разу и не выстрелили. Не удалось. Только мы подняли эту пушку, как взорвался снаряд — он лежал на ней — и расколол ее. Гаубица развалилась пополам, да так ровно, будто ее распилили посередке. Я никогда не забуду эту пушечку и как она раскололась точнехонько пополам.

А главным оружием нам послужили камни и обломки скал. Мы навалили огромные кучи острых камней и булыжников вокруг всей вершины горки, а когда началась атака, дали янки подойти поближе и пустили свое оружие в ход.

Они атаковали в три линии, одна за другой. Мы сидели тихо, а когда до первой шеренги осталось меньше тридцати футов — видно было, как у самых ретивых сверкают глаза, — тут-то мы их и угостили. Мы обрушили на них целую лавину, и, скажу я тебе, это было страшное зрелище. Я больше ни разу не видел такого разгрома, куда пушкам до этого!

Они выли и кричали внизу, прямо кровь стыла в жилах. Но все равно лезли наверх, и мы косили их сотнями. Косили без единого выстрела. Мы разгромили их, мы их уничтожили, и все одними булыжниками.

Да, видывал я битвы и покрупнее — но такой странной больше не припомню.

Битва за Донельсон произошла в начале войны, а битва

на Стоун-Маунтин — ближе к концу. Одна была забавная, другая — необычная; а между ними была битва совсем другого рода. Я расскажу тебе о ней.

Донельсон — наше первое крупное сражение; вернее, там дело обошлось без нас, потому что мы опоздали. А после Донельсона, в апреле шестьдесят второго, был бой под Шайло. Вот туда мы успели вовремя, тут уж ничего не скажешь. Боже ты мой, в самый раз успели! Может, мы и были когда деревенщиной, может, и думали, что все это так, шуточки, — но Шайло выбил у нас из головы деревенскую дурь. После Шайло мы уже шуток не шутили. Мы даже улыбаться разучились после Шайло. Раньше мы были новобранцами — Шайло сделал из нас ветеранов.

И с тех пор бои не прекращались. Тогда, под Шайло, мы узнали, почему фунт лиха. И тогда же нам стало ясно, что так будет до конца.

Джима ранили под Шайло. Ранение было легкое — во всяком случае, не настолько серьезное, чтобы Джима уволили вчистую, как ему хотелось. Рана была в мягкой части ноги, но подобрали его не сразу — пришлось повалиться на поле, — и Джим потерял немало крови. Когда его нашли, он был без сознания. Его оттащили в сторонку и тут же обработали. Кажется, ему просто промыли рану и перебинтовали ногу: работы санитарам хватало, на большее трудно было рассчитывать. Понимаешь ли, тогда они мало чем могли помочь. Я видел, как врачи орудуют под открытым навесом: они отпиливали руки и ноги обычными пилами, без всякого там хлороформа или еще чего, и бросали их в кучу, словно деревяшки, а люди так стонали и кричали, что можно было поседеть. Вот и вся помощь. Умрешь или останешься в живых, как повезет; у многих ранения были гораздо серьезнее, чем у Джима, и его можно считать просто счастливым, потому что на него вообще обратили внимание.

Мне потом рассказывали, что Джим лежал там на старом грязном одеяле — оно было брошено прямо на голую землю — и разглядывал свою ногу, забинтованную сверху донизу, а врач, наверно, захотел его подбодрить и сказал: «Ерунда,

поставим тебя на ноги: через две недели опять будешь лупить янки в хвост и в гриву».

А Джим как услышал это, сразу начал ругаться точно сумасшедший. У ребят, которые там были, прямо волосы встали дыбом от его выражений. Говорят, он совсем очумел, рванулся, содрал свою повязку и закричал: «Черта с два!» Говорят, кровь так и ударила фонтаном, а доктор — тот разъярился страшно, повалил Джима на спину, и сел на него, и схватил эту несчастную повязку, всю в крови, и замотал ногу обратно, и говорит: «Черт тебя подери, попробуй только тронь ее еще раз — истечешь кровью и подохнешь».

А Джим, говорят, разошелся пуще прежнего — его проклятия слышно было за целую милю. «Да наплевать! — кричит. — Лучше подохнуть, чем тут оставаться!»

И говорят, так они препирались, пока у Джима от слабости не отнялся язык. А когда я пришел через пару дней его навестить, он встретил меня сидя, и я спросил: «Джим, как твоя нога? Ничего?»

А он говорит: «Ничего, к сожалению. По мне, так лучше б они отняли эту чертову ногу и похоронили ее здесь, под Шайло, только бы уехать домой и не возвращаться больше. Уж мы с Мартой как-нибудь прожили бы, — сказал он. — Лучше быть калекой до конца дней своих, чем опять идти на эту треклятую войну».

Да, я знал, как ему хочется домой. Я глядел на него и видел, как сильно ему хочется домой, и знал, что ничего не могу поделать. Когда человек начинает вести такие разговоры, ему уже вряд ли что-нибудь втолкуешь. Ну, понятное дело, недели через полторы дали ему отпуск на два месяца, и он пошел прочь на своих костылях. Счастливее человека я не встречал. «Меня отпустили на два месяца, — сказал он, — и если я доберусь-таки домой, папаше Брэггу придется послать всю свою кретинскую армию, чтобы вернуть меня обратно».

В общем, отдыхал он месяца два или чуть побольше, и не знаю уж, что там случилось: то ли он сам устыдился, когда рана совсем зажила, то ли Марта его уговорила, — только

в конце июля он был с нами опять, ужасно мрачный и угрюмый. Со мной он об этом не заговаривал, не рассказывал, что случилось, но я понял: он не вздохнет свободно до тех пор, пока не покинет армию и не отправится домой насовсем.

Да, это был Шайло, это был настоящий бой, и улыбка сошла с наших губ, и мы поняли, что так будет до конца.

Я рассказал тебе о трех битвах; одна была забавная, другая — необычная, а третья — что ж, нам дали понять, что такое война и схватка с врагом. А теперь я расскажу о четвертой. Четвертая битва стоит всех остальных.

Мы попадали в серьезный переplet. И крови было пролито достаточно. Но самое большое сражение, в котором мы побывали, — это Чикамога. Самый кровавый бой — это Чикамога. Всяко бывало, но ни до, ни после я не видел боя, который мог бы пойти в сравнение с Чикамогой. Сейчас я расскажу тебе, что это такое — Чикамога.

Весной и летом того года Старик Рози шел следом за нами через весь Теннесси.

В конце шестьдесят второго нам удалось его остановить: мы разбили его на Стоунз-Ривер. Мы хорошо его потрепали, и ему пришлось отлеживаться. Шесть месяцев он отлеживался в Мерфрисборо. Но мы знали, что он появится. Рози выступил в начале июня и выбил нас из Шелбивилля. Мы отошли к Таллахоме под проливными дождями — ты таких в жизни не видел. Ливни в последнюю неделю июня были ужасные. Но Рози все равно нас преследовал.

Он выбил нас и из Таллахомы. Мы переправились через Камберленд, мы отступили за гору, но он шел по пятам.

Я думаю, в драке, когда ясно, что нужно делать, некоторые оказались бы и пошустрей. Но если доходило до планов и расчетов — тут Старик Рози, Роузкранс, был номером первым. Старик Рози был настоящий лис. По части смекалки никто не мог с ним потягаться.

Пока Брэгг сторожил в Чаттануге, чтобы помешать ему переправиться через Теннесси, он послал часть своих людей на сорок миль вверх по реке. Они ходили туда-сюда, и вокруг

холма, и опять возвращались у нас на глазах — в общем, похоже было, что янки там видимо-невидимо. Но бог ты мой! Все это была только уловка! Рози велел им пилить и стучать молотками, строить лодки, трубить в горны и бить в барабаны, короче, шуметь изо всех сил — даже у нас слышно было, как работа кипит,— а сам все это время стоял в пятидесяти милях оттуда, десятью милями ниже Чаттануги и готовился там к переправе. Вот какой был этот Рози.

Мы пришли в Чаттанугу в начале июля и ждали два месяца. Рози пока не нагнал нас. Чтобы до нас добраться, ему еще надо было перейти Камберленд и миновать холмы и овраги со всеми своими людьми и обозами. Кончился июль, а вестей о нем не было. «Господи,— говорил Джим,— может, он не придет!» Я знал, что он придет, но не возражал Джиму.

Некоторые из нас уже попривыкли к войне. Просто голова стала работать так, что все словно проходило стороной. Считали, что завтра само о себе позаботится. Вот и я тоже так рассуждал.

Но Джим — другое дело. После встречи с Мартой Пэтон он здорово изменился. По-моему, он проклял войну и армейскую ляжку в ту самую секунду, как увидел Марту. С тех пор он жил только одной мыслью: вернуться домой и жениться на этой девушке. Когда приезжала почта, он оказывался первым в очереди за письмами; а если он получал от нее весточку, то брел в сторону точно лунатик. А если письма не было, он уходил куда-нибудь и сидел там один-одинешенек: ему становилось так плохо, что он не хотел ни с кем разговаривать. Ребята считали его странным — нелюдимом, который все думает да беспокоится бог знает о чем и хочет, чтобы его оставили одного. Ну, они скоро и оставили его в покое. Ребята не очень-то его жаловали — они ведь так и не узнали, в чем штука, так и не узнали, что по-настоящему он вовсе не такой, каким кажется. Все это было только потому, что он был отчаянно влюблен — влюблен как никто на свете. Да что говорить! Я-то знал! Я с первого дня знал, где собака зарыта.

Удивительно, как война меняет человека. До войны я был серьезным, а Джим — шалопаем.

По-моему, я слишком много работал. Мы были очень бедные. До войны я, кажется, вообще не знал, что такое свободное время. А когда началась война, думал только о веселье и развлечениях, которые мне предстоят; а потом, когда понял, что это такое,— тут я уже привык и мне было наплевать.

Я всегда умел приспособливаться. Может быть, потому я сейчас и сижу здесь. Я не любил ломать голову, и как бы круто нам ни приходилось, я всегда думал, что выдержу, раз другим это удастся. А завтра пусть само о себе позаботится. Я считаю, меня смело можно назвать оптимистом. Если дело было плохо, я всегда думал, что могло быть и хуже, а когда было хуже некуда — что ж, я считал, что это не вечно и когда-нибудь все обязательно пойдет на лад.

А насчет армии мне кажется: когда дела пошли совсем плохо и не оставалось никакой надежды на улучшение, я как раз и попал туда, где можно на все плюнуть. Я ложился и засыпал спокойно, не думая о завтрашнем дне, потому что *не знал*, что будет завтра, вот и не ломал голову зря. Ты, наверно, скажешь, что это у меня пентландовское — вера в судьбу.

Ну, а с Джимом все было наоборот. До войны он был беспечным, как жаворонок: только и знал, что веселиться. Но потом пришла война, и он стал другим человеком.

И, как я рассказывал, случилось это не сразу. Когда мы в то утро вышли из дому, Джим был просто счастлив. Я думаю, он, как и все мы, собирался на войне порезвиться. Мы отвели на это месяцев шесть. Мы считали, что потом вернемся, и это, разумеется, устраивало Джима. Да и не только его. У нас появилась возможность надеть форму и посмотреть мир, пострелять в янки и загнать их на север, а потом вернуться домой и хвастать перед теми, кто остался, и строить из себя героев, и гулять с девушками.

Вот так это выглядело в наших глазах, когда мы вышли из Зебулона. Мы и думать забыли о зиме. Мы и думать забы-

ли о грязи, холодах и дождях. Мы не знали, что такое идти на пустой желудок, босиком, с обмороженными ногами и без всяких шинелей, ложиться на голую землю и засыпать, ничем не прикрывшись, да еще радоваться не переставая, если попадалось сухое местечко, и больше от усталости ничего не соображать. Обо всем этом мы не думали и не слышали. Мы не знали, что нас ждет в зарослях кедровника у реки Чикамоги. А если б узнали — если б кто-нибудь рассказал, — все равно, я думаю, не обратили бы внимания. Слишком мы были зеленые. А насчет знания — да что там! Тут одно плохо: сначала ты узнаешь, что *может* случиться, и только потом — что действительно *случается*. И никто тебя не научит. Ты должен сам до этого дойти.

Ну вот, я и говорю: мы все сражались и сражались, а войне не было конца. Старик Рози шел по пятам. «Господи, — говорил Джим. — Когда же это кончится?»

Я и сам не знал. Мы воевали целых два года, и я давно уже на все плюнул. Джим — другое дело. Он не переставал молиться и надеялся, что скоро наступит конец, он приедет домой и заполучит свою девушку. И вначале — год или чуток побольше — я его подбадривал. Я ему говорил, что это не вечно. Но потом говорить стало без толку. Он уже не верил.

Потому что Старик Рози наступал. Мы разбили его и остановили на время, но он отлежался и опять преследовал нас, опять нажимал. «Господи! — говорил Джим. — Когда же это прекратится?»

В то лето Рози оттеснил нас к нижней границе Теннесси. Он выбил нас из Шелбивилля, и мы отступили к Таллахоме, к перевалу. Когда мы переправились через Камберленд, я сказал Джиму: «Теперь он попался. Чтобы догнать нас, ему придется перейти через горы. А как только он это сделает, он попался. Брэгг только этого и ждет. На сей раз мы ему покажем, — сказал я, — от него мокрого места не останется. К рождеству будем дома, Джим, вот увидишь».

А Джим только взглянул на меня, покачал головой и говорит: «Господи, господи, не верю я, что эта война кончится».

Не то чтобы он боялся янки — а может, потому-то он и дрался как тигр. В бою Джим словно терял рассудок. Он шел на риск и вытворял такое — я не видел, чтоб кто-нибудь так рисковал. Но я думаю, это было просто отчаяние. Он ведь ненавидел войну. Он не мог привыкнуть к ней, не то что другие. Он не мог принять это как должное. Вряд ли он очень боялся умереть. По-моему, он все еще был полон жизни. Он не хотел умирать, потому что очень хотел жить. И очень хотел жить, потому что любил.

...Ну, стало быть, Рози наконец вытеснил нас за Камберленд. В июле мы уже стояли в Чаттануге, и несколько недель все было тихо. Но я не забывал, что Рози идет следом. Он объявился к концу августа и опять стал нажимать. Он переправил через Камберленд обозы; дороги были плохие, да еще шли дожди, и телеги у него увязали по ступицу. Но он справился с этим, спустился в долину, потом перевалил через холмы и в начале сентября уже опять наступал нам на пятки.

Мы вышли из Чаттануги восьмого. Наши отряды еще не покинули города, а Рози уже вступил в него с другой стороны. Мы спустились вниз по реке, за гору — это к югу, — и Рози решил, что опять поймал нас на марше.

Но на этот раз мы его провели. У нас все было готово к встрече, мы выбрали местечко и притаились. Старик Рози шел за нами. Он выслал Маккука по реке на юг, чтобы догнать нас. Он думал, что застанет нас врасплох, но Маккук никого не нашел. Мы стояли к югу от города, на речке Чикамоге. Но Маккук забрался слишком далеко. Томас нажимал с севера, а когда Маккук попытался вернуться к нему, путь был уже перерезан. Им оставалось только драться, иначе они не соединились бы.

Мы заняли позиции на Чикамоге семнадцатого. Янки пришли восемнадцатого и расположились в лесу напротив нас. За нами были гора Лукаут-Маунтин и река Чикамога. Янки стояли в лесу перед нами, на взгорке, спиной к холмам Мишнери-Ридж — холмы были к востоку от них.

Битва на Чикамоге происходила в зарослях кедровника.

Эти заросли, насколько я знаю, в длину тянутся мили на три, а шириной в милю. Мы бились два дня по всей роще, то тут, то там. Когда бой начался, кедровник был такой густой и непроходимый, что можно было воткнуть в него нож в любом месте, и он бы остался торчать. А к концу боя кедровник так выкосили пули и снаряды, что ты мог невооруженным глазом увидеть черную гадюку в ста метрах от себя. Посмотришь на эту рощу после боя, и кажется, что даже колибри размером с ноготок разнесло бы в клочки, залети он туда днем раньше. И все-таки больше половины тех, кто вошел в кедровник, выбрались оттуда живыми и могут рассказать обо всем. Не верится, что это правда. Но я был там и видел это своими глазами.

После полуночи — было, наверно, около двух, и мы заснули в ожидании завтрашней битвы — Джим разбудил меня. Я проснулся мгновенно — это вошло в привычку, — и, хотя стояла такая темь, что вытяни руку, и ладони уже не видать, я его сразу признал. Он был бледный, словно привидение; за время последней кампании он высох как щепка. В темноте его лицо белело как бумага. Он больно ткнул меня в руку. Я так и подскочил, а потом увидел его и тут же признал.

— Джон, слышишь, — сказал он и сильно ткнул меня пальцами в руку, она аж заныла от боли. — Джон! Я видел его! Он опять был здесь!

И, скажу я тебе, у меня сердце захолонуло, так он это произнес. Говорят, мы, Пентланды, народ суеверный — может, оно и правда. Рассказывают, что однажды на закате наши видели моего брата Джорджа — он взбирался на холм, — и все, старый и малый, высыпали на крыльцо и глядели, как он поднимается на холм, и заворачивает за дерево, и исчезает, словно земля его поглотила; а через десять суток пришло известие, что его убили под Ченселорсвиллем в тот самый день и час. Я слышал эти истории и не придавал им никакого значения, хотя знаю, что остальные в них верят. Но вот что я тебе скажу: это бледное лицо в темноте, эти горящие черные глаза, и как он это произнес, и всё вокруг...

Рядом спали люди, и я слышал, как кто-то пробирается по лесу, слышал, как позвякивает упряжь, — ей-богу, этого достаточно, чтобы сердце заохлоло! Я схватил его за руку, я встряхнул его, я не хотел больше ничего слышать, я велел ему замолчать...

— Джон, он был здесь! — сказал Джим.

Я не спросил, о ком речь: я знал это слишком хорошо. За последний месяц он видел его в третий раз — неизвестного всадника. Я не хотел ничего слушать, я сказал, что это ему приснилось и чтобы он шел досыпать.

— Говорю тебе, Джон, мне не приснилось! — сказал он. — Ох, Джон, я слышал... слышал его лошадь... я видел его ясно, как днем... и он ни слова не сказал мне — он смотрел вниз, а потом повернулся и исчез в лесу... Джон, Джон, я слышал его, и я не знаю, к чему это!

То ли он вправду что-то видел, то ли ему показалось, то ли приснилось — не знаю. Но под его обжигающим, горячим в темноте взглядом я почувствовал себя так, словно и сам это видел. Я велел ему лечь рядом, глаза у него всё горели. Я знал, что теперь он не заснет до рассвета. Я закрыл глаза и притворился спящим — бесполезно: нам обоим так и не удалось задремать. И оба мы были рады, когда наступило утро.

Бой начался на нашем правом фланге в десять часов. Мы не могли разобрать, что происходит: заросли были такие густые, что мы целых два дня не знали, как обстоят дела, да и потом все прояснилось не сразу. Мы не знали, сколько людей у противника, не знали своих потерь. Ходили слухи, что даже сам Старик Розы не знал толком, что к чему, когда на следующий день вернулся в город; он не знал, что Томас все еще не отступил ни на шаг. А уж если Розы знал мало, что же спрашивать с простого солдата? Два дня по всей роще кипели бои, и порой ты оказывался под самым носом у янки, вовсе не ожидая этого. Так она и продолжалась, эта битва — самая кровавая битва в истории, — и кедровник покраснел от крови, и не осталось веточки, на которой мог бы усесться воробей.

Так, значит, в десять мы услышали, что бой идет на

правом фланге и приближается к нам. Потом мне рассказали, как началась битва: янки спустились к речке, напали на лагерь Форреста и заставили наших отступить. Дальше брали верх то мы, то они, и самих янки оттеснили назад; так продолжалось целый день. Мы атаковали, и они отбрасывали нас назад, потом они атаковали, а мы отражали их атаки. Так оно и шло с утра до вечера. Мы нажимали на их левом фланге; они косили нас картечью, вся трава была красная от крови, но мы рвались вперед. За день наши ходили в атаку раз десять — я сам участвовал в четырех. Мы дрались то там, то тут, и к вечеру в лесу не было живого клочка земли величиной с ладонь. Мы прорвали правый фланг в два тридцать пополудни и ринулись дальше, мимо дома Уиддера Гленна, где квартировал Роза, и гнали их до самой дороги Лафайет-Роуд, и заняли ее. А потом они выбили нас оттуда. И мы вновь стали наступать, и бой не кончился, даже когда стемнело.

Мы дрались за дорогу целый день, и никто не мог взять верх, пока всю ее не залило кровью. Эту дорогу назвали Кровавой — очень подходящее название.

После того как стемнело, мы продолжали драться еще час или больше, и в лесу были видны вспышки выстрелов, но потом выстрелы стихли. И, скажу я тебе, воспоминаний об этой удивительной ночи хватит на всю жизнь. Кое-где лес загорелся от снарядов, были видны дым и языки пламени, слышно было, как кричат и стонут раненые, и от этих стонов кровь застывала в жилах. Мы подобрали, сколько смогли — но некоторых даже не пытались найти, просто махнули рукой. Страшно было слушать, как они стонут. Я думаю, много раненых умерли или сгорели заживо только потому, что мы не могли найти их.

По лесу сновали санитары с носилками, каждая сторона выискивала своих убитых. Видно было, как они снуют в дыму и пламени, а мертвые лежат густо, как скошенная рожь: застывшие лица и черный порошок на губах, — сквозь ветви пробивался тусклый лунный свет, и все это было похоже на какой-то ад.

Но нам было не до того. Всю ночь мы слышали, как стучат топоры и визжат пилы: янки валили деревья, чтобы помешать нашему наступлению. Мы знали, что битва только началась. Мы понимали, что перевес на нашей стороне, но знали, что пока еще никто не победил. Мы знали, что второй день будет почище первого.

Джим тоже знал это. Бедняга Джим в ту ночь совсем не спал, в ту ночь он не видел никакого всадника — он сидел, обхватив колени, уставившись в темноту, и бормотал: «Боже мой, боже мой, когда же это кончится?»

Наконец наступило утро. Теперь мы точно знали, где находимся и что нам нужно делать. Наши позиции определились. Брэгг наконец понял, где стоит Роза, а Роза понял, где мы. И обе стороны ждали, когда наступит утро. Утро было туманное, по земле стлалась дымка. Около десяти, когда туман начал подыматься, мы получили приказ и снова пошли в атаку, в лес.

Мы знали, что бой будет на правом фланге — то есть для нас он был правый, а для Розы — левый. И знали, что на левом фланге у Розы стоит Томас. А еще мы знали, что легче прогрызть зубами гранитный утес, чем стронуть с места старого Томаса. Но мы пошли на него — и, скажу я тебе, это был бой! Против него вчерашние схватки казались детской забавой.

Мы атаковали Томаса справа в половине одиннадцатого, Брекенридж обогнул его левый фланг и ударил с тылу, и тут нам крепко досталось. Томас развернул своих людей в мгновение ока, словно бичом щелкнул, и отбросил Брекенриджа назад, на прежнее место, но не успела закончиться первая атака, как мы уже опять ворвались в его ряды.

Яростная битва прокатилась по флангу к центру армии Розы и назад, снова и снова по всей линии обороны Томаса. Мы атаковали его слева, и справа, и в центре, а он отбивал наши атаки и отбрасывал нас назад. И мы схлестывались опять и опять, как два раненых льва, а кедровник к тому времени уже был так растерзан, залит кровью и завален трупами, точно тут черти сорвались с цепи.

Рози все перекидывал людей с правого фланга на левый, чтобы помочь Томасу сдерживать нас. И тогда мы атаковали Томаса на левом фланге, и прорвались в середине, и вновь ударили слева, а он опять и опять перебрасывал своих янки справа в середину и на фланги, когда мы накатывались на него, пока мы не разорвали его армию на части. Мы заставили их прыгать туда-сюда, как кенгуру, и в конце концов это их доконало.

Самые горячие бои шли на левом фланге, где стоял Томас, но чтобы сдерживать нас, янки ослабили правый фланг, и им не удалось сомкнуться в центре. И в два часа дня Лонгстрит увидел брешь справа, где стоял Вуд, и повел пять наших отрядов, и мы прорвались в их расположение. Это была победа. Мы разорвали линию обороны и разнесли правый фланг в клочки. Мы бросались на них точно бешеные. Мы убивали и брали их в плен тысячами, а те, кого не убили и не взяли в плен на месте, ударились бежать через скалы, словно сам дьявол гнался за ними по пятам.

Да, это был настоящий разгром, можешь мне поверить! Они отступали через перевал: каждый спасал свою шкуру, и никто не заботился об отставших. Сверху скакал Рози; он ворвался в гущу своих людей, он пытался остановить их, повернуть вспять и повести в атаку — но это было все равно что пытаться плыть по Миссисипи против течения на полудохлой кляче! Они понесли его с собой словно щепку. Они потоком влились в Росвилль, измученные и растерзанные, — самая несчастная армия на свете, и Старик Рози был вместе с уцелевшими!

Рози знал, что для него все кончено, вернее, думал так, ведь ему все говорили, что армия северян потерпела полное поражение, — а битва была решающей. И Старик Рози повернул и поскакал в Чаттанугу, и он был конченный человек. Рассказывали, что он прискакал в свою штаб-квартиру в Чаттануге, ему помогли слезть с коня и он вошел в дом шатаясь, он был ошеломлен и словно бы не понимал, что произошло, — и он сидел там и не мог выговорить ни слова, как немой.

Это было в четыре часа пополудни. А потом до него дошло известие, что Томас не покинул поля боя и даже не двинулся с места. Старый Томас стоял как скала. Мы разбили правый фланг и погнали их за перевал, мы разнесли правый фланг в клочья, и янки бросились в Россвилль спасать свою шкуру. Потом наши снова повернули и атаковали Томаса с левого фланга. Мы думали, что победили его, ему оставалось уйти или сдаться. Но Томас развернулся, отступил к Мишнери-Ридж, прижался спиной к холму и не двигался с места.

Лонгстрит приказал нам отойти назад в три часа, когда мы разбили правый фланг и они побежали через перевал. Тогда мы решили, что все кончилось. Мы шли назад, спотыкаясь, как слепые. И я повернулся к Джиму, я обнял его и сказал: «Джим, что я говорил? Я так и знал: мы побили их, и теперь этому конец!» Я не понял, слышал он меня или нет. Он шел, спотыкаясь, рядом со мной, лицо у него было белое как бумага, губы черные от пороха, и он бормотал что-то себе под нос, как во сне. И мы вернулись на свои позиции, и нам велели отдыхать. И мы стояли, опершись на винтовки, точно никак не могли понять, живыми или мертвыми выбрались из этого ада.

— Все, Джим, мы победили, и это конец! — сказал я.

Он стоял, опираясь на винтовку и пошатываясь, и глядел в лес. Он стоял и пошатывался и не говорил ни слова, его большие глаза горели, и он смотрел в лес.

— Слышишь, Джим? — И я потянул его за руку. — Все кончилось, друг! Мы побили их, бой кончился!.. Да ты что — не понимаешь?

И тут я услышал крики справа от нас — это приказ передавали по цепочке, — и Джим, бедняга, поднял голову, и прислушался, и сказал:

— Господи! Опять идти!

Ну да, он был прав. Оказалось, что Томас стоит спиной к холму, и мы получили приказ атаковать его снова. С этого момента я уже плохо соображал, что происходит. Мы двигались точно в аду, дрались, как в страшном сне, — только по-

хоже было, что нам приснилась сама смерть. Лонгстрит водил нас в атаку на этот холм раз пять, пока не стемнело. Мы подбегали вплотную к их ружьям, и они косили нас, как траву, и мы — вернее, те, кто уцелел, — шатаясь, отходили назад, и снова строились у подножия холма, и снова шли на штурм. Мы добирались до самой вершины, и теснили их за холм, и дрались штыками, а они опять шли на нас, и мы разбивали друг другу головы прикладами. Потом они отбрасывали нас назад, мы перестраивались и атаковали их снова.

Последняя атака началась в темноте. Мы наступали и по дороге снимали оружие с трупов, забирали его у раненых — у нас самих уже ничего не осталось. Потом мы сошлись с первой линией обороны и заставили их отступить. Сошлись со второй — и смели ее. Мы двигались вверх, навстречу третьей и последней, — они выждали, когда мы окажемся с ними лицом к лицу, и дали залп. Словно поток раскаленного свинца хлынул на нас — отряд таял как снег. Джима вдруг покачнуло, и он завертелся точно волчок. Глаза его широко раскрылись, кровь хлынула изо рта, и он упал чуть ли не на меня. Я посмотрел вниз и переступил через него, как будто это было бревно. Сейчас не о чем было думать, не на что глядеть и не к чему стремиться, кроме того рубежа. Мы подошли к ним, и они дали залп — и мы отступили шатаясь.

Но мы знали, что победа за нами. Об этом нам сказали позже, но мы знали, что так оно и есть, потому что к утру янки там уже не было. Они все отошли в город, и мы остались на берегу Чикамоги, одни на поле боя.

Я не знаю, сколько было убитых. Не знаю, у кого потери были больше. Я знаю только, что по трупам можно было идти, не ступая на землю. Знаю только, что заросли кедровника, два дня назад почти непроходимые — воткни в них нож, и он не упадет, — теперь были так растерзаны, что в понедельник можно было невооруженным глазом увидеть черную гадюку в ста метрах от себя.

Я не знаю, скольких мы потеряли и сколько мы убили ян-

ки. Пусть генералы обеих армий посчитают и успокоятся. Зато я знаю: глядя потом на поле боя, трудно было поверить, что колибри, залети он в кедровник, мог вернуться обратно. Но все это было, и что там колибри — люди и те выби- рались оттуда живыми.

А в понедельник утром, когда я пришел на холм, где лежал Джим, рядом с ним, на истерзанной ветке, пела иволга. Я перевернул Джима и взял его часы, нож, кое-какие доку- менты и что там еще у него было, в том числе и письма от Марты Пэтон. И положил к себе в карман.

А потом встал и огляделся. Странное было чувство, точно все это приключилось во сне. Ведь Джим так отчаянно хотел жить — совсем не то, что я,— и вот я стоял с его часами и письмами Марты Пэтон в кармане и слушал, как поет ивол- га. И мне суждено было пройти всю войну, и вернуться до- мой, и жениться на Марте — а несчастливцы вроде бедняги Джима остались лежать там, на берегу реки Чикамоги.

Странно сейчас вспоминать об этом. Все повернулось вовсе не так, как мы думали. И было это давным-давно, ведь мне стукнет девяносто пять, если я доживу до седьмого августа нынешнего года. Как много воды утекло с тех пор, правда? Но я вижу все так ясно, точно это случилось вчера. А потом оно вдруг меркнет и кажется таким необычным, как будто это было во сне.

А ведь я побывал в больших сражениях, скажу я тебе. Я повидал много удивительного и прошел через кровавые схватки. Но самая крупная битва, в которой мне дове- лось сражаться,— самая кровавая битва, какую знали лю- ди,— была на реке Чикамоге в зарослях кедровника, на реке Чикамоге в ту знаменитую войну.

Портрет Баскома Хока

За четверть века, протекшую с начала нынешнего столетия, бостонский деловой люд, служивший в конторах на Стейт-стрит и поблизости, несомненно, освоился с покойническим, диковинным видом моего дяди, Баскома Хока. По рабочим дням, без чего-нибудь в девять утра, он поднимался со станции подземки в начале улицы и на минуту потерянно застывал, сразу взбаламучивая прибывавший поток, с пенным шелестом размыкавшийся на два рукава, причем застывал он, потешно схватив себя костлявыми ручищами за бока, словно удерживая себя на месте, и в то же время невообразимо гримасничая испитым податливым лицом. Он скашивал к переносью буравчатые глазки, косоротился мертвенным подобием улыбки и начинал стремительно сокращать мышцы среднего и нижнего отделов лица, натягивая гуттаперчевую нижнюю губу на редкие лошадиные зубы, украшавшие верхнюю челюсть. Дав потом покой лицу, он бегло и невидяще осматривался и решительно ступал на мостовую; случалось, ему везло, и в этот момент движение перекрывали и пешеходы спешили через улицу, но бывало и так, что он ввергался в ревущую лавину автомобилей, грузовиков и фургонов и либо проходил ее насквозь благополучно, под визг тормозов, истошное кваканье сигнальных рожков и крепкую брань перепуганных водителей, либо, стenea от ужаса, застревал посередине сбитой им с толку и замершей улицы, и тогда его с бранью спасал молодой красномордый регулировщик-ирландец.

Баском был взыскан судьбой и потому оставался цел. Был, правда, случай, когда яркая механическая этажерка, равно-

душная к взысканным судьбой, сбила его с ног и помяла; и еще был случай, когда неосведомленное колесо наехало ему на носок ботинка и пригвоздило к месту, словно он наравне со всеми ходил под богом. И оба раза он уцелел. Он потому уцелел, что был взыскан судьбой и провидение, направляющее шаги детей и слепца, благоволило к нему; он потому, наконец, уцелел, что этот самый полицейский, изрыгавший обезьяньим ртом ругательства, давно перестал сатанеть и слепнуть от ярости, давно отчаялся и смирился и теперь питал к этой заблудшей овце поистине материнские чувства, бдительно высматривал дядю по утрам, а если случалось прозевать его, то немедленно начинал свистеть, услышав хорошо знакомый, леденящий душу вопль, и немедленно же устремлялся в самое средоточие уличного затора, в крики, проклятья и скрип тормозов; он выдергивал Баскома на безопасное место и, цепко ухватив его под локоть мускулистой рукой, осторожно вел к тротуару, по пути ощупывая его суставы и кости, обеспокоенно массируя участки тела и называя его «малышом», хотя мой дядя годился ему в деды: — Живой, малыш? Нигде не больно, малыш? Все цело? — Но потрясенный и натерпевшийся страху Баском безмолвствовал и только загнанно хрипел и время от времени издавал сиплый вопль:

— О! О! О!

Обретя наконец дар речи и отчасти успокоившись, он высоким, подвывающим и сипловатым голосом, каким вещают с горы пророки, изливал праведный гнев на автомобили и их водителей. До странного далеким казался его голос, и, будучи услышан, он навсегда оставался в памяти. Это был далеко слышный, но вовсе не трубный стенающий голос, как если бы мистер Баском с горы докрикивался до кого-то внизу, в притихшей долине, и тот отчетливо и очень издали слышал этот жаркий от неземной страсти клич. Это был воистину пастырский голос, голос великого проповедника, и звучать ему пристало в молитвенных домах, где, впрочем, в свое время он и звучал, поскольку в своей долгой и яркой жизни дядя Баском поочередно и всякий раз с глубо-

чайшей убежденностью исповедовал и проповедовал разные вероучения — епископальное, пресвитерианское, методистское, баптистское и унитарное.

И если на то пошло, он и теперь частенько выступал в роли уличного проповедника — взять хотя бы случаи, когда он чудом не погибал под колесами: едва оправившись от потрясения, он обрушивал поток витиеватой хулы на всех случившихся тут шоферов, и если иной затевал перепалку, а такое случалось, то разыгрывался захватывающий спектакль.

— Ты что, с цепи сорвался? — цедит сквозь зубы автомобилист. — От санитаров даешь тягу?

В ответ мистер Хок награждает его цветистой рацеей, к случаю процитировав самых свирепых ветхозаветных пророков, уже тогда суливших смерть, гибель и проклятье владельцам автомобилей, и кстати сославшись на светопреставление и Судный день и помянув колесницы Молоха и зверей апокалипсических.

— Ладно, кончай! — скорее всего огрызнется автомобилист. — Ты что — слепой? Ты что — на выгоне? Сигналов не знаешь? Не видел, что крючок поднял руку? Не знаешь, когда «Стойте», когда — «Идите»? Есть же правила движения — слышал про такое?

— *Правила движения!* — презрительно восклицает дядя, как бы оскорбляясь тем, что автомобилист смеет произносить эти слова. Его голос звучит кругло и отчетливо, каждое слово он выговаривает издевательски правильно, это манерная, гнусавая, соблюдающая все ударения дикция известного разряда педантов и пуристов, предметно вещающих ту истину, что в устах подавляющего большинства людей язык безобразно коверкается, что слово, помимо точного значения, имеет нюансы и оттенки, и только им, педантам и пуристам, доступны такие тонкости. — *Правила движения!* — повторяет он, потом сводит глаза в одну точку, поднимает гуттаперчевую нижнюю губу к верхним лошадиным зубам и презрительно, вынужденно смеется в нос. — *Правила движения! Жалкий профан! Полуграмотный бан-*

дит! Вы беретесь говорить при мне — *при мне!* — он вздымает голос на кафедральную высоту, ударяет себя в костлявую грудь и воспламеняется благородным гневом пророка, тратящего время на самоуверенного нахала, — вы рассуждаете о правилах движения, между тем сомнительно, чтобы вы могли *прочитать* эти правила, случись им попасться вам на глаза, а если вы и одолеете такое чтение, — тут он презрительно фыркает, — то ясно даже младенцу, что не с вашими способностями понять правила *и*, — тут он еще одним рывком голоса и наставительно вздетым костлявым пальцем обозначает важность момента, — и уяснить их смысл.

— Ишь ты! — огрызается автомобилист. — Умник тоже! Развелось вас, умников! Умник большой нашелся! — ожесточенно буксует на одном слове автомобилист. — Теперь я тебе скажу. Ты, думаешь, умней всех? Прямо! Только путаетесь под ногами, умники, и просите дать по морде. Умней не придумали. Если бы ты не дышал на ладан, я бы тебе удружил, — заключает он, хмуро удовлетворяясь этим обещанием.

— О! О! О! — ужасается Баском.

— Если ты такой умный и все на свете знаешь, то растолкуй их, правила движения.

Не приходится сомневаться в том, что если такие правила вообще существовали, то злополучному автомобилисту наставлял конец, ибо дядя излагал их все *verbatim**, упиваясь казуистическими тонкостями и педантично смакуя каждый поворот фразы.

— И сверх того, — гремел он, восставив костлявый палец, — штат Массачусетс, основываясь на уложении, датированном 1856 годом, и признавая очевидную, обязательную и необратимую силу онога, постановляет, что всякий извозчик, возница, распорядитель, администратор, экспедитор, кондуктор и любое другое лицо, прямо или косвенно приводящее в движение то или иное перевозочное средство, имеющее два, четыре, шесть, восемь и сколь угодно более ко-

* дословно, слово в слово (*лат.*).

лес и являющееся общественным достоянием либо собственностью отдельного лица, буде оно...— но к этому времени автомобилист, получив свое сполна, благоразумно отбывал.

Но случалось и так, что утро выдавалось удачное и дядя Баском благополучно совершал свой лунатический переход через ревущую и несущуюся улицу, потом быстрым шагом шел дальше по Стейт-стрит, все так же обжимая костлявыми пальцами впалые бока и на все лады корежа свою уникальную физиономию, и вскоре сворачивал в парадное большого, грязновато выглядевшего темнокаменного дома из числа солидной, неказистой, весьма ценной недвижимости, что сохраняет вид и запах начала 900 годов и принадлежит старинной и чрезвычайно богатой корпорации в заречье, а именно — Гарвардскому университету.

По-прежнему держась за бока, дядя Баском всходил по щербатым мраморным ступеням вестибюля, толкал дверь-вертушку и оказывался в просторном мраморном коридоре, где клубился по-банному распаренный воздух и пахло сырыми ботами и галошами, хлоркой и карболкой и хорошо работающими, хотя и старинного вида, лифтами, один из которых как раз в эту минуту грянулся вниз, раскидал свои двери и извергнул двух пассажиров и заглотнул дюжину, в том числе дядю, с той же нервозностью доставив его на восьмой этаж, где в широком и темном коридоре дядя потерянно жмурился и гримасничал, соблюдая двадцатипятилетний распорядок, и шел влево, мимо светящихся конторских дверей, из-за которых доносились разминочное постукивание машинок, хруст бумаг и скрип рассаживающихся служащих. Пройдя коридор до конца, Баском Хок сворачивал вправо, в другой коридор, и вскоре останавливался перед обычной казенной дверью с размашистой надписью на стекле: «Джон Т. Брилл. Аренда и продажа недвижимости»; и ниже, совсем мелко: «Баском Хок, адвокат. Оформление передаточных записей».

Прежде чем войти в эту привлекательную контору, давайте поближе и повнимательнее приглядимся к обличью

этого своеобразного человека.

Странная эта личность неизменно привлекала внимание и возбуждала пересуды и на Стейт-стрит, и где угодно еще. В Баскоме Хоке, если его распрямить, вышло бы шесть футов и три-четыре дюйма росту*, но при ходьбе он сутулился, и с годами сутулость стала постоянной; у него был громоздкий, грубый, ширококостный остов кощя, прочный, однако, как пекан**. Он принадлежал к той породе людей, что, кажется, не знают износу, не стареют и не умирают; с неоскудевающей жизненной силой они доживают до глубочайшей старости и умирают в одночасье. Они не дряхлеют и не чахнут, потому что дряхлеть и чахнуть нечему: их ссохшаяся, жилистая плоть долговечна, как гранит.

И в столь же долгосрочное одяние обряжал Баском Хок свое угловатое тело: его старый, заношенный туалет не производил впечатления сносившегося — не обманулась, стало быть, бережливая дядина натура, когда в девяностые годы, судя по фасону и возрасту материала, он выбирал его в бессрочное пользование. Некогда сумрачно-серый крапчатый пиджак позеленел на швах и у карманов, и к тому же это был до смешного кургузый, чуть больше жилетки пиджак на долговязом, крупном мужчине, отчего огромные мосластые руки вылезали наружу на аршин, а узкая рама сгорбленных плеч влезала в пиджак без зазора. Такими же тесными и короткими были брюки, сшитые из более светлой грубошерстной ткани, с которой давно сошел ворс; на ногах тяжелые деревенские башмаки с сыромятными шнурками, на голове нелепая плоская шляпчонка из черного фетра, также от старости позеленевшего вдоль ленты. Теперь понятно, почему полисмен звал его «малышом»: на громадном этом костяке был распялен гардероб, в каком хаживал на свидание, зажав в красной лапе кулек с леденцами, деревенский недоросль восьмидесятих годов. Галстук-удавка, чистый вытертый воротничок в блекло-голубых разводах, как после собственноручной стирки (догадка,

* То есть около 193 см.

** Дерево семейства ореховых.

впрочем, верная, поскольку дядя целиком обстирывал себя, а также ставил заплаты, штопал дыры и чинил обувь), — вот, собственно говоря, костюм, в котором он ходил зимой и летом неизменно, если не считать, что зимой он поддевал древнюю синюю фуфайку, застегнутую до подбородка и показывавшую из-под кургузой одежды обтрепанные обшлага. В пальто его не видели даже в самые лютые холода, какие случаются в Бостоне долгой студеной зимой.

Что дядюшка не в себе — это было яснее ясного; каким-то образом люди смекали, что он не бедняк, и, завидев на Стейт-стрит знакомую фигуру, подталкивали друг друга локтями, говоря: — Видишь того старикана? Небось думаешь, он ждет подачки от Армии Спасения? Как бы не так! Деньга, брат, у него *есть*. Будь спокоен: *есть*, и притом в избытке, только он ее хоронит от чужих глаз. У старикана полно монет в чулке.

— Господи! — отзовется собеседник. — Какой же с них прок такому-то деду? Не заберет же он их с собой, верно?

— То-то и оно, брат. — И разговор примет философское направление.

Баском Хок сознавал, что он скуп, и, время от времени объявляя себя «форменным нищим», он отлично понимал, что его крохоборство коллеги не спишут на бедность, они то и дело поддевали его: — Собирайтесь, Хок, пора обедать. В Паркер-хаус прилично накормят всего за пару монет. — Или: — Слушайте, Хок, в одном местечке я присмотрел для вас зимнее пальто — и всего за шестьдесят долларов. — Или: — Преподобный, хорошей стиркой не интересуетесь? Я знаю парочку китайцев, очень прилично работают.

С показательной для скряги увертливостью Баском отвечал им, пренебрежительно фыркая носом: — Увольте, сэры! В эти зловонные рестораны я не ходок. Не все же можно тащить в рот. У вас мигом отшибет аппетит, загляни вы к ним на кухню, в эту грязь, вонь и смрад, где они для вас стряпают. — Его скупость развилась в болезненную брезгливость

к еде, он заявлял, что-де «в молодые годы загубил себе пищеварение в ресторанах», в отталкивающих образах рисовал мерзопакостность этих заведений и, презрительно хмыкая, объявлял: — Вам, конечно, покажется вкуснее, когда грязный, вонючий нигер выполощет в супе свои пятерни (хм-хм-хм!), — тут он кроил гримасу и презрительно фыркал; он язвительно обличал «изысканные яства», заявляя, что они-де «унесли больше жизней, чем все войны и все армии с начала света».

К старости он уверовал в первозданную питательность «сырых продуктов», дома сам готовил себе кормежку из тертой моркови, лука, репы и даже сырого картофеля и уписывал это крошево за обе щеки, поучая жену: — Если вам так хочется — ешьте себе на погибель отбивные, устриц, индюшек, только не суйте эту отраву *мне*. Увольте, сэр! Ни за что на свете! Собственный желудок мне дороже.— Обращение «вам» предназначалось, видимо, человечеству, а не конкретному адресату, поскольку ничто не мешало этой женщине жить вечно, если воздержание от «отбивных, устриц и индюшек» сулило долголетие.

Также с проблемой одежды, с укрытием брэнной плоти, когда бостонская зима начинала покусывать, — он и тут оригинальничал: — Пальто! Ни за что на свете! Задаром не надо! От них только зараза, простуда и пневмония. Я тридцать лет хожу без пальто и за все это время *не знал* — да что там! *не догадывался*, — что такое простуда! — каковое утверждение грешило против истины, поскольку он сам в продолжение зимы по меньшей мере дважды, если не трижды жаловался на простуду, кляня ненавистный, коварный, богом проклятый бостонский климат, гаже которого нет на всем свете.

И тоже с прачечными, если о них заходила речь, — он с усмешкой объявлял, что не допустит, чтобы на *его* рубашки и воротнички «грязный тип плевал и харкал». — Вот именно! — ликовал он, подбрасывая новую гадость бурлящему воображению. — Именно! И еще *втирал* бы утюгом, чтоб вы потом ходили оплеванный (хм-хм!), — и он морщил лицо,

кривил гуттаперчевую губу и пускал через ноздри довольный, торжествующий смех.

Ухватившись костлявыми руками за бока, этот старик стоял сейчас перед дверью своей конторы.

История его такова.

Человек недюжинного ума и неупорядоченных страстей, Баском Хок был в своей достопримечательной семье ученым мужем. Уже в юности причудливость одежды, речи, походки и манер вызывала насмешки его родичей-южан. Однако к насмешкам примешивалась гордость, ибо в его броском своеобразии они видели лишнее подтверждение тому, что их семейство не из обыкновенных.— У него чердак набекрень,— весело остерегали они,— он у нас самый глумной.

Юность Баскома, пришедшуюся на годы после Гражданской войны, опалила безотрадная бедность; укорененная в землю жизнь с ее физическим трудом, изнурением, убогостью и хворьями, от земли же возрождавшаяся неистово, яростно и победно, была украшением его и позором. С ранних лет он пылал негодованием на униженность человека, страстно возглашал его величие и гармонию и тем больнее страдал от безответственности отца, от его умножавшегося потомства, безостановочно заселявшего мир пустых кладовок.

— Когда очередной несчастный являлся в этот мир,— много спустя говорил он дрожащим от чувства голосом,— я уходил в лес, бился головой о деревья и злобно поносил господ. Да, сэр,— продолжал он, снуя захватистой нижней губой по редко торчащим верхним зубам и с сугубым тщанием артикулируя слова,— да, я не стыжусь в этом признаться. Ибо мы жили *не-достойно, недостойно*, в условиях,— тут голос его проповеднически взмывал,— почти скотских! И поверишь? — Он обрывал горнее возглашение, возвращался на землю и переходил на доверительный шепот: — Поверишь ли, мой мальчик, но однажды я вынужден был *родному* отцу растолковать, что при такой жизни мы не

вырастем приличными людьми.— Тут его голос окончательно потухал в шепоте, и, жутко гримасничая и муся губой верхние зубы, он здоровенным твердым пальцем гвоздил мою коленку.

Бедность возлюбила и забрала его молодость и оставила по себе крепкую память, опалив его сердце. Какие-то крохи начального образования он подобрал в своей глухомани, читал все, что попадало в руки, два-три года ходил в сельскую школу и в двадцать один год, заняв денег на железнодорожный билет, приехал в Бостон определяться в Гарвард. И поскольку душа его пылала одним пламенным желанием, его каким-то образом приняли, он стал подрабатывать официантом, репетитором и глажкой брюк (хотя сам ходил в неглаженных), ютясь еще с тремя бедолагами в комнатухе за три с половиной доллара в неделю, где сам готовил себе, ел, спал, мылся и занимался.

К концу седьмого года он превзошел полный курс колледжа и богословскую школу, сделав блистательные успехи в греческом, древнееврейском и в метафизике.

Нужда, иступленная учеба и сексуальный дефицит превратили его в испитого фанатика: к тридцати годам это был худущий энтузиаст, истый безумец-янки, скелет с серыми горящими глазами и густой копной желудевых волос, венчающей шесть футов три дюйма долговязого курьезного тела, дергающегося всем на потеху буйно и бесконтрольно. Зато великолепна была его точеная голова, он вообще походил на великого Ральфа Уолдо Эмерсона, только был развинченный, без тормозов.

В это примерно время он женился на молодой южанке из хорошей семьи: она была родом из Теннесси, родители умерли, и в семидесятые годы она перебралась на север, несколько лет жила в Провиденсе с дядей, назначенным опекать ее имущество, каковое составляло что-то около семидесяти пяти тысяч долларов, хотя позднее в ее романтических воспоминаниях цифра возросла до двухсот тысяч. Что-то из ее денег опекун промотал, что-то присвоил, и Баскому досталось необременительное приданое, но сама де-

вушка была хорошенькая, живая, умная и с прелестной фигуркой. Баском в кровь избил костяшки пальцев о стены своей каморки и пал на колени, возблагодарив господ.

Когда Баском познакомился с ней, она училась в Бостоне музыке, у нее было полновесное контральто, при пении она чуть детонировала. Миниатюрная, ершистая, ладненькая, шустрая, с резковатым говором, сохранившим, как ни странно, отзвуки южного акцента, эта госпожа невеличка была энергична, основательна, без особого чувства юмора, и в сухопарого своего ухажера она влюбилась без памяти. Они встречались два года: ходили на концерты, на лекции и проповеди, толковали о музыке, поэзии, философии, о боге. Только о любви не говорили. И однажды вечером Баском явился в гостиную ее пансиона на Хантингтон авеню и голосом, дрожащим и замирающим от значительности предстоящих слов, сказал.— Мисс Луиза! — осторожно сказал он, вглядываясь поверх составленных пальцев.— Приходит день, когда достигший благоразумия и зрелости рассудка мужчина принужден задуматься о *серьезнейшем*... да! несомненно, одном из важнейших событий в жизни человеческой. Под таким событием я разумею супружество.

Он смолк, на камине размеренно частили часы, по улице, цокая подковами, прошла лошадь. Луиза же сидела пряменькая, в позе неприступного достоинства, но казалось ей, что часы стучат у нее в груди и что вот-вот они остановятся.

— Решение это тем паче серьезно,— продолжал Баском,— для служителя слова божия, ибо в его случае решение *бесповоротно*, приняв решение, он должен исполнять его *непреклонно, неукоснительно* — денно и ночью! до края могилы, до самого порога смертных врат, и потому могущее случиться ошибочное решение *чревато*,— его голос упал до остерегающего шепота,— чревато самыми страшными последствиями. Соответственно,— продолжал Баском собранным голосом,— решившись на такой шаг и *вполне* — я подчеркиваю: *вполне* сознавая его серьезность, я исследовал душу, допросил сердце. Я беседовал с моим Творцом, поднявшись в горы и отойдя в пустыню, покуда,— его голос

налился демонической силой, — *ни атома сомнения, ни грана неясности, ни тени неверия* не осталось во мне! Мисс Луиза, я решил, что девица, во всех отношениях годящаяся быть мне подругой, товарищем в радости и печали, наперсницей заветнейших упований, вдохновительницей благороднейших устремлений, опорой в преклонные годы и *духом*, неразлучным со мной на томительной и беспокойной стезе и вровень несущим все, что ни пошлет неисповедимый господний промысел — будь то богатство или бедность, горе или счастье, — я решил, мисс Луиза, что такая девица — это вы! И посему я прошу, — медленно и со значением выговорил он, — оказать мне честь быть моей женой.

Она любила его, грезила, молилась, торопила эту минуту, а когда минута настала, она с благородным достоинством поднялась и сказала:

— Мистер Хок, я польщена вашим предложением, свидетельствующим об уважении и глубоком чувстве, и обещаю немедленно отнестись к нему самым ответственным образом. Я вполне сознаю, мистер Хок, серьезность того, что вы только что высказали. Со своей стороны должна добавить, мистер Хок, что, приняв ваше предложение, я достанусь вам бесприданницей, поскольку моим *законным* состоянием обманно завладел мошенник — да-да, мошенник-опекун. Я достанусь вам, таким образом, без приданого, которым я так надеялась приумножить состояние моего мужа.

— *Дорогая мисс Луиза! Дорогая вы моя!* — вскричал Баском, протестуяще разводя воздух своей громадной рукой. — Не смейте, умоляю, ни единой секунды не смейте думать, что материальные соображения могли бы повлиять на мое решение. Никоим образом! — кричал он. — Никоим!

— К счастью, — продолжала Луиза, — негодяй промотал *не все* мое наследство. Часть, очень малая часть осталась.

— Дорогая моя девочка! Дорогая вы моя! — кричал дядя Баском. — Это не имеет *ровно никакого* значения... Сколько он оставил? — поинтересовался он.

Так они поженились.

Баском моментально исхлопотал приход на Среднем За-

паде, приличное жалованье и крышу над головой. В продолжение же последующих двадцати лет сменились не один молитвенный дом и не одна секта: он подался в Бруклин, потом вернулся на Средний Запад, побывал в обеих Дакотах, оттуда в Джерси-Сити, дальше в Западный Массачусетс и кончил там, где начинал, — в маленьких городках вблизи Бостона.

Когда Баском говорил, бог, несомненно, внимал ему — проповедь дядя читал бесподобно: над кафедрой пылал его испитой лик, довольно высокий, поразительно гибкий голос взвинчивался до хрипа. Его молитвы неистово представлялись перед богом, в них было столько горячечного запала, что публика ежилась от близости к богохульству. К несчастью, необузданное красноречие, случалось, наказывало дядю: голос, раскалившись в горниле страстей, трескался, дядя грудью падал на кафедру, закрывал лицо громадными лопастями рук и разражался душераздирающими рыданиями.

На Среднем Западе, где он начал свое пастырство, такое не поощряется: там принято рыдать светло и радостно, с улыбкой надежды сквозь слезы, под сладкоголосый хор раскаявшихся грешников; а Баском брал для проповедей неблагоприятные сюжеты, и немудрено, что чувства захлестывали его, когда он принимался за «Жену Потифара», «Руфь на гумне», «Блудниц Вавилонских», «Жену на кровле» и тому подобные темы.

Его голова вела нескончаемые прения с совестью: он по очереди перебивал в ложах церковью епископальной, пресвитерианской и унитарийской, он продирался через бурлящее протестантское сонмище к приемлемому для себя исповеданию. И он всегда обретал его — и всегда потом отрекался от обретенного. В сорок лет наш унитарий превысил допустимое свободомыслие, от его проповедей пошел густой чад агностицизма; свои неопитские настроения он облакал в прозу карлейлевской чеканки и стихи в подражание Мэтью Арнольду. Его духовная совокупность с унитарийцами, как, впрочем, и с баптистами, методистами, трясун-

ми и адвентистами седьмого дня, разом прекратилась, когда однажды утром он зачитал с кафедры стихотворное сочинение «Агностик», в котором ясность мысли искупала техническое несовершенство и каждую строфу венчала неутешительная истина:

Не знаю — мой ответ.
Возможно — да,
Возможно — нет.

Вот так получилось, что к пятидесяти годам Баском Хок отошел от публичных проповедей. Последующая его деятельность была предопределена. Его снадало фамильное вождение к собственности. Он стал заниматься операциями по передаче недвижимости; он достаточно понаторел в имущественном праве, чтобы определять право собственности; вдобавок он стал покупать клочки земли в окрестностях Бостона и застраивать их дешевыми домишками по собственным диковинным проектам, экономя на архитекторах и даже горячо берясь за такие чужие дела, как закладка фундамента, наладка сантехники и малярные работы.

Всякие цены казались ему непомерно высокими — надо было видеть, в какую ярость приводили его расчетные ведомости: он являлся домой вне себя, изо всей мочи топал ногами, ругмя ругал итальянцев, ирландцев, бельгийцев, поляков, швейцарцев, янки и любую другую нацию, имевшую несчастье попасть в сегодняшнюю платежную ведомость,— он всех честил подлецами и головорезами, сговорившимися обобратить его до нитки и пустить по миру. Он обращал против них весь свой богатейший бранный арсенал, разгоняя сиплый голос до визга; когда же его ресурсы иссякали, мелькало видение того, перед кем он был дитя,— ожесточеннейшего из всех земных громовержцев Джона Т. Брилла, его сослуживца, матерщинника и жизнелюба, и, воздев к небесам трепещущие длани, он взывал к ним обоим — к богу и Брилли.

Как все его семейство опаленный страшной и подробной памятью о войне и голоде, он трепетал перед костлявым

призраком нищеты; он был из тех, кто надеется не умереть с голоду, живя впроголодь.

Поэтому он сам чинил себе башмаки и носил допотопную одежду, в поте лица обрабатывал свой каменистый огород и еще тысячью способами противостоял организованному грабежу.

Домишки, которые он — язык не поворачивается сказать: строил, — которые он в невыразимых муках производил на свет, вылизывал, выхаживал и поднимал до рахитического состояния, он в долгую рассрочку и выгодно продавал ремесленникам и лавочникам ирландского, еврейского, негритянского, бельгийского, итальянского и греческого происхождения. И всякий раз, когда производился окончательный расчет или делался очередной взнос, дядя Баском шел домой ошалелый от счастья, хватая за лацканы встречаемых и громогласно превознося достоинства евреев, бельгийцев, ирландцев, швейцарцев либо греков.

— Прекраснейшие люди! Никаких сомнений! — Последним восклицанием он неизменно подтверждал факт платежа, а также свою убежденность в чем-либо.

Он действительно их всех любил — когда они платили. Обычно они шли к нему с платой в воскресенье, по замерзшей земле или утрамбованному снегу тащились мимо грязновато-пасмурных домов, обставших улицы в унылом до сведения скул пригороде, где он обитал. В эту вот угрюмую дичь и выбиралась смуглолицая разноплеменная братия, облекшись в строгие черные пары, в каком виде бедняки отдают долги и ходят на похороны. Их путь проляжет через истощенные пустоши, по злой, высушенной земле в ржавой сорной парше, они флегматично обогнут глухие дощатые заборы кирпичного завода, напористо прохрустят на грязном льду изрезанных колеями дорог, минуют грязно-серые фасады деревянных домов, которые своим озябшим, сиротским и невыразимым уродством являли как бы архитектурный апофеоз тоски, тупика и ужаса и кричали о таком неприкаянном одиночестве, что мнилось, изболевшаяся и отчаявшаяся душа человеческая от него зачахнет и умрет,

сломленная, смятая и безъязыкая даже вымолвить проклятие, когда-то вскипавшее в человеке.

И вот они перед дядиным скромным жилищем в ряду таких же домишек, что он понастроил на голых пригородных пустырях, только своей улице он дал звонкое имя в собственную честь: Горки Хока, хотя единственной возвышенностью на этой плоской и скучной равнине был ерундовый, едва заметный бугор в полумиле от его дома. Домá на застроенной им улице, эти кряжистые крепкие уродцы, словно иззябшие кроты, вгрызлись в бросовую кремнистую землю, сплоченно выставив горбы безграничному и чудовищному безучастию северного неба, днем струившего блеклый морозный свет, вечером страшно истекавшего кровью,— неба дикого и лютого. И, судорожно сжав в кулаке замуколенные деньги, словно черпая силу в них, пóтом и кровью доставшихся под таким небом, они входят в дом расплатиться с дядей. Из каких-то подвальных глубин он уже идет навстречу, бранясь, ворча и хлопая дверьми; он оглушительно приветствует их, до подбородка застегнутый в свою свалывшуюся выцветшую фуфайку, мосластый, сутулый, озябший, громадные свои руки возложивший на поясницу. И пока, строя гримасы и двигая губой, он будет нервотрепно писать расписку, дающую им маленький роздых в долгах и делах и на шагок приближающую к безусловному обладанию,— все это время они простоят, напряженно переминаясь и теребя шляпу.

Опустив деньги в карман и завершив сделку, он не сразу отпустит их, но зычно и настоятельно пригласит задержаться, угостит длинной стеблевидной сигарой, а они будут томиться костистым воловьим тазом на краешке стула, застенчиво внимая его вопросам, замечаниям и восторгам на их счет.

— Да что говорить, любезный! — кричал он греку Макрополосу.— У вас славное прошлое, такой историей может гордиться любой народ!

— Верно, верно,— энергично тряс головой Макрополос.— Большая история.

— Греческий архипелаг! Греческий архипелаг! — надсаживался дядя.— Где любила и слагала песни пылкая Сафо (хм-хм-хм)!..

— Верно, верно,— добродушно подтверждал Макрополос, озадаченно шевельнув насупленной, в палец толщиной бровью.— Точно. Все так.

— Да что говорить, любезный! — кричал дядя.— Я всю жизнь мечтал посетить эти священные места, встретить восход солнца на Акрополе, прикоснуться к былой славе Греции, увидеть величественные руины благороднейшей из древних цивилизаций!

Тут уязвленный патриотизм окрашивал румянцем изжелта-смуглые щеки мистера Макрополоса, он суровел и приходил в волнение и в следующую минуту страстно заклинал:

— Нет, нет, нет! Никаких руин! Скажете тоже! Афины — прекрасный город! У нас там миллион людей.— Ища нужное слово, он мохнатыми руками лепил в воздухе шар.— Понимаете? *Большой!* Красивый,— расплывался он в улыбке.— Все хорошее. Там все хорошее, как у вас! *Понимаете?* — проникновенно внушал он.— Все красивое! Ничего старого! Нет, нет, нет! — с возрастающим негодованием кричал он.— Новое! Как здесь! Красивое! Все хорошее и дешевое! Много места, новый дом, лифт — пожалуйста! Красиво,— убежденно говорил он.— Сколько, по-вашему, такое стоит? Пятнадцать долларов в месяц! Верно говорю! — говорил он, честно темнея лицом.— Обманывать не стану.

— Прекраснейшие люди! — с глубокой убежденностью и удовлетворением кричал дядя Баском.— Никаких сомнений! — И он провожал гостя до двери, выкрикивая прощальные слова в чудовищно безучастное, дикое небо.

Все это время моя тетка, не разобравшая ни слова из сказанного и вообще воспринимавшая только куски дядиной мерной, обстоятельной речи,— все это время Луиза смешливо фыркала на кухне, то и дело с тихим воплем вникая в свои кастрюли и сковородки, и вдруг смолкала, точно

прислушиваясь, и снова принималась фыркать, с веселым сокрушением мотая головой, пока не совалась, ахнув, в какую-нибудь сковородку; ибо за сорок пять лет совместной жизни с Баскомом она медленно, но верно и бесповоротно сошла с ума и уже не осознавала и не имела желаний уточнять, в самом деле она что-то слышит либо забытыми голосами вдруг отозвалось далекое прошлое.

И снова она смолкала, светло, в каком-то блаженном ожидании заострившись всем своим птичьим обликом, когда грохала входная дверь и Баском шествовал к себе, что-то бормоча под нос, погруженный в глубоко личные, тайные замыслы, такой далекий и обособленный от нее, словно они обитали на разных планетах, хотя дом, в котором они жили, был маленьким.

Союз Баскома и Луизы господь благословил четырьмя детьми, и как скоро те поняли, что в изобильном мире через брак, убийство либо трудясь не покладая рук очень просто прокормиться, согреться, одеться, обрести крышу и свободу, — они один за другим разлетелись из родительского гнезда. И хотя у каждого из них жизнь вышла на свой лад достопримечательной, рассказывать о них тут нет нужды, поскольку Баском про них забыл, к его жизни они не имели касательства, у него был этот дар — забывать, он был пережитком старины без рода и племени.

Такова вкратце история старика, стоящего в эту минуту перед дверьми своей пыльной конторы. Корни его жизни лежали в пустыне, в погребенном прошлом, в канувшей Америке. Могучая тайна событий и дел уволоклась через него в минувшее, и призрачная тень оттуда колебала его черты.

Как все его соотечественники, он был скитальцем, изгоем на вечной земле. Как все мы — бездомным. Куда подвезет судьба — там и дом.

Контора, куда теперь вошел Баском Хок, состояла из двух комнат коленом в сгибе дома, так что из окон видны

были оба крыла, разлинованные светящимися этажами, где диктовал, стучал на машинке, важно вышагивал взад и вперед, говорил по телефону, а чаще всего складывал руки на затылке, покойно помещал ноги на ближайший устойчивый предмет и подолгу мечтательно и размягченно глядел в потолок многочисленный брат бюрократ.

В широкие и обычно очень грязные окна передней комнаты удавалось разглядеть Фэней-холл* и роскошную, праздничную суматоху на рынках.

А вообще-то эти замызганные конторы, дразняще приоткрывавшие бурливую жизнь, были невзрачным подобием миллионов других, разбросанных по всей стране, и располагали они, по слову красноречивого бедекера**, «тем малым, что способно пленить проезжающего»: несколько стульев, два щербатых шведских бюро, столик с пишущей машинкой, побитый сейф с грудой залистанных гроссбухов на горбу, зеленые картотечные ящики, невероятных размеров зеленый, в жирных подтеках кувшин, до половины наполненный ржавой непитьевой жидкостью, и две плевательницы, предназначенные для Брилла, ибо он был жвачный человек и решительно все вокруг себя заплевывал,— вот, собственно, и вся обстановка комнаты, если не считать стендов с фотографиями домов и ценниками: 8 комнат, Дорчестер, 6 500 долларов; 5 комнат и гараж, Мелроуз, 4 500 долларов и т. д.,— и такая же обстановка во второй комнате, только расстановка чуть другая.

Чтобы попасть в свою собственную «контору», как сам Баском называл клетушку, в которой работал и принимал клиентов, старик проходил через вторую комнату и в хлипкой перегородке из лакированной фанеры и пузырчатого стекла отмыкал дверь. Вот что была его «контора»: отмежевавшийся от большой комнаты узкий пенал, где с трудом выкроили для себя место большое грязное окно, древний колченогий стол с вращающимся стулом, крохотный побитый сейф, погребенный под навалом пожелтевших газет, и книжный

* Торговый дом в Бостоне с залом для народных собраний.

** Общее название путеводителей (по имени немецкого издателя XIX в.).

шкафчик со стеклянными дверцами, за которыми на двух коротких полках помещалось несколько потрепанных фолиантов. Разбор этих книг выявлял три-четыре видавших виды, тронутых плесенью юридических справочника в солидных, телячьей кожи переплетах: о договорах, о недвижимости, о праве собственности — эта троица всенепременно, потом захватанный и затрепанный двухтомник стихов Мэтью Арнольда, экземпляр «Сартора Резартуса»*, также читанный-перечитанный, томик эссе Ральфа Уолдо Эмерсона, «Илиаду» на древнегреческом с микроскопическими пожелтевшими пометками на полях, третьегодичный «Всемирный календарь» и ветшайшую, зачитанную до дыр и твердым, въедливым, бисерным почерком Баскома исписанную Библию.

Если старик припаздывал, что иногда случалось, то своих коллег он заставлял уже в сборе. У своего столика сидела машинистка мисс Мюриэл Брилл, старшая дочь мистера Брилла, и, скрестив поленья ног и согнувшись, расстегивала пряжки на ботах, носимых ею зимой. В другие времена года мисс Брилл, понятно, не носила боты, однако наша память цепко удерживает позы, неясно почему представляющиеся нам характерными для определенного лица, и утренний завсегдатай этого заведения помнил мисс Брилл в единственном положении: расстегивающей пряжки на ботах. Но возможно и то, что иные люди ассоциируются у нас с определенным временем года, и таковым для этой барышни была зима, только не вьюжная, с завывающими ветрами и слепящими снежными буранами, а сумрачно-серая, сырая, вязкая, гибельная — бесконечная череда серых будней и серого однообразия. В ней не было ни единой живой краски: сырая, тяжелая фигура, белое невыразительное лицо с крупными чертами, к тому же не суживающееся книзу, а заостряющееся кверху, и говорила она соответственно, тарыхтела, как заведенная кукла, даже по памяти от ее речей сводило скулы. Посетителю запоминалось что-ни-

* Роман английского писателя и историка Т. Карлейля (1795—1881).

будь в таком роде: — А-а, привет... Совсем нас забыли... Давненько не заглядывали... То-то я на днях подумала: давненько не заглядывал... Решила: совсем нас забыл... Как живете-можете? Выглядите вроде нормально... Кто — я?.. Не жалуюсь... В делах? Еще бы. Кручусь... Вы к кому? К папе? Он там... Да, конечно. Прямо входите.

Когда мисс Брилл расстегивала боты, в комнате скорее всего уже находился мистер Сэмюэл Фридман, с целью разогнать кровь энергично терший сухие ладони либо массирующий кисть. Это был мелкий молодежьавый мужчина, бледный, изможденного вида еврей с острым хорьковым лицом; люди с такой внешностью без остатка растворяются в человеческой массе, заполняющей улицы и метро, память не в силах восстановить их облик — ни в целом, ни в подробностях, однако эти вот люди населяют землю и воплощают жизнь. Яркость, своеобразие, чувство юмора — этих качеств, кои избыточно украшают иных его соплеменников, мистер Фридман не имел: серые будни и поганый климат словно погасили его душу, как загубили они без числа тамошние многоязычные души — ирландцев, исконную новоанглийскую косточку, тех же евреев, — всех их выровняли, вылощили, выструнили. Мистер Фридман тоже ходил в ботах, одевался опрятно и просто, носил потертый лоснящийся костюм, и отпотевшей влагой и размягченной резиной тянуло от него, когда, потирая сухие ладони, он говорил: — Господь бог! Как же не хотелось выбираться из теплой постельки! Стою и говорю себе: *Господь бог!* — Жена говорит: Что с тобой? — Я говорю: Стань сюда на минутку, тогда поймешь, что со мной. — Холодно, что ли? — говорит. — Что ли, — говорю, — именно: что ли. — Господь бог! Мороз можно колоть топором, в кувшинах вода замерзла насмерть, а она, представьте, спрашивает: Холодно, что ли? — Что ли, что ли, — говорю, — скажи еще что-нибудь смешное. — Ах, как хорошо в постельке. Тут еще торчит в голове малый из Брейнтри, к которому сегодня тащиться, и чем больше я про него думал, тем меньше ему симпатизировал. У меня

ноги превратились в ледышки, пока я растапливал печь.— Господь бог! — говорю.— Хоть бы мотор теперь не подвел. Раз мне ее размораживать,— говорю,— то пора двигаться.— И что вы думаете, сэр? Завелась сразу, а как это у нее получилось — лучше не вникать.

Мисс Брилл внимала монологу, время от времени издавая междометие «угу». Она часто употребляла эту частицу, значение которой примерно «да», только — уклончивое «да». Оратора как бы ободряют, дают знать, что он услышан и понят, однако слушателя эта частица не обязывает сочувствовать оратору или, скажем, соглашаться с ним.

Третьего коллегу, который в это время также мог присутствовать в комнате, звали Стэнли П. Уорд. Это был приятный, среднего роста господин лет пятидесяти, сбитенький, с нежной розовой кожей, с ровным клинышком бороды, с уютным брюшком, компактно уложившимся в выглаженном и вычищенном костюме, что сидел на нем словно влитой. Он был немного франт, и было видно, что собою он хоть и сдержанно, но до чрезвычайности доволен. Он эффектно подавал себя, и даже его семенящая походка благодаря пузочку смахивала на голубиную побегжку. Обыкновенно он пребывал в ровном и превосходном настроении, часто смеялся, в уголках его губ постоянно трепетала, а точнее — деликатно сдерживалась улыбка. Эта улыбка и смех смутно беспокоили окружающих, была в них какая-то каверзность, словно своими мыслями и чувствами он не желал делиться с окружающими. Словно он проведал о главной, сокровенной силе, приобрелся недоступного всем прочим высшего знания и мудрости, словом, был «избранным», и это впечатление от мистера Стэнли Уорда нужно признать имеющим основание, ибо он был последователем «христианской науки»*, столпом церкви, причем весьма видной церкви: во всякое воскресенье он обретался под величественными сводами кафедрального собора на Хантингтон авеню, одетый в модные полосатые брюки, в ботинках на каучуковой

* Религиозная организация протестантской ориентации, возникшая в США в 1870-е годы.

подошве и визитке, и там он предупредительно, бесшумно и толково разводил верующих на их места.

Таковы были обитатели передней комнаты конторы «Недвижимость» Джона Т. Брилла, и если Баском Хок, мой дядя, запаздывал, а эта троица уже собралась, если злоумышленник, вольготно гуляющий по свету, не покусился на ту или иную часть его земных сокровищ и маньяк на быстрых колесах не подверг опасности его жизнь, если проклятуший новоанглийский климат в этот день чуть смягчился, если, коротко говоря, Баском Хок находился в превосходном расположении духа, то, войдя, он с порога выкрикивал звонко, напористо и на одной далекой ноте: — Привет! Привет! Привет! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! — после чего закрывал глаза, кроил страшную рожу, надвигал гуттаперчевую губу на свои лошадиные зубы и пускал через нос ржанье, словно отколов немислимо смешную штуку. На эти проявления сослуживцы обменивались взглядами, понимающе и снисходительно кивая и подмигивая друг другу — так, насмешливо и самодовольно, воспринимают эксцентрические выходы «нормальные» члены общества, — и мистер Сэмюэл Фридман замечал: — Что случилось, отец? Смотрите счастливым. Кто-то вас разогрел.

На это из недр второй комнаты мог зычно отозваться грубый голос, в котором наливалась готовая выплеснуться избыточная низкосортная пошлость: — Ерунда, я объясню, в чем дело. — И в дверной проем вдвигался массивный силуэт шефа, мистера Джона Т. Брилла. — Неужто не знаете, что стряслось с Преподобным? А вдовушка-то, с которой он тут валандался? — И, как всегда перед салынностью, в горле у мистера Брилла начинало булькать, губы складывались в плотоядную улыбку. — В ней причина. Она сподобила его...

При этом покушении на юмор пузырь в красной глотке мистера Брилла лопался и он раздражался визгливым, захлебывающимся, мокротным хохотом, как горазды смеяться

крупные полнокровные мужчины. Мистер Фридман кашлял сухим смешком («хе-хе-хе-хе»), мистер Стэнли Уорд похотывал, не роняя достоинства, а мисс Брилл, памятуя о девичьей скромности, исподтишка и конфузливо прыскала. Баском же Хок, случись ему быть в отличном настроении, гудел носовым смехом, переламывался в костлявой пояснице, облапив ее ручищами, и несколько раз с силой топал сухощавой ногой; резвясь, он мог раз-другой лягнуть мебель, мыча и топоча, и даже боднуть своими деревянными перстами мисс Брилл, словно тревожась, что она не расчувствует соль шутки.

Однако Баском Хок, мой дядюшка, был личность сложная, переменчивая, и если мистер Брилл со своим балаганом попадал ему в неподходящее настроение, он мог обезобразить лицо выражением крайней гадливости и, резко мотая головой, пробормотать осуждающие слова. Мог, наконец, воздвигнуться суровым моралистом, грозно, низами голоса предваряя обличительную силу слов.— Дама, которую вы имеете в виду,— начинал он,— прелестная и интеллигентная дама, сэр, чье имя,— его голос начинал подвывать, и колебательно выставлялся указательный палец,— чье имя, сэр, вы гнусно опорочили и очернили...

— Не делал я этого, Преподобный. Я, наоборот, хотел обелить,— говорил мистер Брилл, возобновляя горловое клекотанье.

— ...чье имя, сэр, вы гнусно опорочили и очернили своими грязными домыслами,— не давал себя сбить Баском,— эта дама, и вы это прекрасно знаете, сэр, знакома мне,— ревел он, тряся громадным пальцем,— исключительно и только с профессиональной стороны.

— Тю, Преподобный,— простодушно тянул мистер Брилл.— Так она профессионалка? Я-то считал, что она, прости господи, любительница.

Нанеся этот последний удар, мистер Брилл наполнял комнату всесотрясающим ржаньем, мистер Фридман, ухватившись за живот и падая грудью на стол, попискивал, мистер Уорд, отвернувшись к окну, смеялся лающим смехом,

неодобрительно поматывая головой, словно сокрушаясь в душе, а мисс Брилл, хихикнув, подсаживалась к машинке и объявляла: — Такие разговоры уже не для меня.

И если все это безобразие случалось в такую минуту, когда мудреная дядина душа не принимала пошлости, то он удалялся, замыкался в свою скорлупу, его выразительное, подвижное лицо искажала невообразимая гримаса гадливости и отвращения, и свистящим, трепетным от негодования шепотом он говорил: — Ах, беда! Беда! Беда! — и в такт словам качал головой.

Но бывало и так, что чудовищная пошлость Брилла, его беспардонная профанация всего и вся попадали в тон дяде Баскому, больше того, пробуждали в нем восторженный отклик, дух соперничества, лукавый и находчивый, и, припечатав словцо, он довольно хихикал и жуликовато косился на слушателей, вдохновлявших его так же, как пьянят вероотступника впервые отведавшие грех и срам.

В глазах своих коллег, в глазах, стало быть, Фридмана, Уорда и машинистки Мюриэл дядя всегда оставался загадкой; поначалу они дивились и поражались своеобразию его речи и костюма, эксцентричности поведения, взрывоопасной переменчивости настроений, потом над всем этим посмеивались и подтрунивали, а теперь он им порядком наскучил и приелся. Его делам и словам они уже не удивлялись, их это не увлекало и даже не привлекало, он сознавался ими как еще один факт их скучных биографий. У них стало привычкой свысока третировать его («подначивать старикана», как они выражались), самодовольно перемигиваться и подавать другие тайные знаки, и это было низко и подло, потому что ни один из них в подметки не годился моему дяде.

Он ничего этого не замечал, а заметив — вряд ли стал бы придавать этому значение, потому что, как почти всякий человек со странностями, обретался обычно в своем собственном мире и по-тамошнему жил, чувствовал и дышал. К тому же, достойный сын незаурядного семейства, он

прошел жизнь с чувством «взысканного судьбой» (у них это вообще была семейная черта), с чувством особого попечения о нем промысла божьего, с тем, коротко говоря, чувством, что век, может быть, расшатался, но сам он даже не дрогнул. Поколебать это непомерное самомнение могла только смерть, ведь и взрывался он, хулил белый свет, клеймил подвернувшегося автомобилиста, пешехода или пролетария лишь потому, что пути-дороги этих людей набегали на его стезю и те или иные их действия вносили сумбур в его мироздание.

Забавно, но из сослуживцев лучше всех понимал и уважал дядюшку не кто иной, как Джон Т. Брилл. Мистер Брилл был колоссально слеплен из простейших желаний и страстей, с неукротимостью Миссисипи хлестало из его уст полноводное сквернословие, без него он был так же немислим, как кит в болотце, и он поносил все и вся, едва открыв рот, без умысла и безотчетно, и все-таки в обхождении с дядей его брань принимала отвлеченный характер, окрашивалась оттенком уважительности.

Он мог, например, сказать ему:

— Черт побери, Хок, вы не подыскали правооснования для того молзенского барахла? Малый названивает мне каждый день насчет этого.

— Какой малый? — уточнит дядя. — Из Оксфорда?

— Нет, — скажет мистер Брилл, — другой, из Дорчестера. А что мне сказать этому ---, если правооснования не имеется?

Пошлое и характерное для него словоизлияние, но лично дядю оно как бы не задевает — ведь есть большая разница между «черт побери» и «черт вас побери». С другими своими подчиненными Брилл не миндальничал.

Брилл был громадина: шесть футов и два-три дюйма росту и под триста фунтов весу. Он был совершенно лыс, атласно отливала розовость черепа; румяное полнолуние щекастого лица убывало к макушке. Похабство, празднично распирившее его, рябило обстоятельно-вескую, зычную погудку его голоса; похабство настолько вошло в его жизнь,

настолько стало естественной для него формой самовыражения, что осуждать его бессмысленно. Он употреблял ограниченный круг постоянных эпитетов — к слову сказать, так же поступал Гомер, и, как Гомер, Брилл не видел оснований заменять хорошо зарекомендовавшее себя слово каким-нибудь другим.

Хоть и срамник, Брилл был человек простодушный. Рядом со своими служащими он, как и мой дядя, казался выходцем из какого-то допотопного времени, яркого и крупного, и наверно, потому между ними были и духовное родство, и понимание, чего у тех не было в помине. И Фридман, и дочка Брилла Мюриэл, и Уорд — они принадлежали сонмищу людскому, тем неисчислимым ордам, что, неостановимо умножаясь, заполняют собой улицы жизни, протекая серыми, незапоминающимися массаами. А Брилл и дядя Баском оставались собой и среди тысячи, и среди миллиона народа: увидев их в толпе, на них оглядывались, а поговорив с ними, их запоминали на всю жизнь.

Сегодня редкость — встретить человека, который выявлял бы себя с такой полнотой и убежденностью, как Брилл, — исчерпывающе полно и без тени сомнения или замешательства. Правда, проявлял он себя в основном двойко: непристойностью речей и взрывом оглушительного, обвального хохота, этим выплеском мироощущения, кульминации и предела его выразительных средств.

И пусть других забавляла его вдохновенная похабщина, но дядя Баском от нее, бывало, сатанел. В таких случаях он либо тут же уходил из конторы, либо в бешенстве ретировался в свой пенал, захлопывал за собой дверь, сотряса тонкую перегородку и потревожив двадцатилетнюю пыль, и с минуту судорожно кривил губы, конвульсивно искажал лицо и поматывал костлявой головой и уже потом потрясенно, страдальческим голосом шептал: — Ах, беда! Беда! Беда! И в словах, и в делах — хам и пошляк. Возможно ли, — ужасался он, — чтобы воспитанный, порядочный человек говорил такое при людях? При собственной дочери?! Ах, беда! Беда! Беда!

В наступившей тишине дядя еще тряс головой сокрушенно и подавленно, когда через комнату от него Брилл звонко щелкал человечество по носу и заходился гортанным смехом. И если позже дяде требовалось перемолвиться с ним по делу, он рывком распахивал дверь, решительно направлялся к его столу, держа руки на пояснице, и с застывшей брезгливой grimасой говорил: — М-м, сэр... Полагаю, можно заняться делами, — тут его голос набухал желчью, — если вы уже отмолились своим богам.

— Какое, Преподобный! — ревел в ответ Брилл. — Я еще и не начинал.

И, громыхнув стенающим хохотом, от которого вздрагивали оконные стекла, он в полном изнеможении откидывался всем своим чудовищным весом на спинку скрипнувшего винтового стула.

Безусловно, он любил поддеть дядюшку — и буквально по любому поводу. Если, к примеру, Баскома угощали сигарой, Брилл якобы простодушно замечал: — Вы, конечно, не станете ее курить, Преподобный?

— Отчего же нет? — парировал дядя Баском. — Для чего еще она предназначена?

— Так-то оно так, — отвечал Брилл, — только не вам напоминать, как их делают. Мне вообще странно, что вы взяли ее в руки после поганого испанца, который извлек ее в своих лапах и еще всю обслюнявил — так это делается.

— А-а, — отмахивался дядя. — Не говорите чего не знаете. Чище хорошего табака ничего нет. Благородная, здоровая культура. Никаких сомнений.

— Тогда, — говорил Брилл, — я начинаю понимать. Век живи — век учись, Преподобный, и сейчас вы меня опять просветили: если задаром, то это сама чистота, а если за деньги, то вонь и мерзость. — Он с минуту весомо размышлял, и в громадной его глотке начинало побулькивать. — Черт побери! — заключал он. — А ведь это не только к табаку приложимо. Отнюдь не только!

Или такой случай. Однажды утром дядя зловеще про-

кашлялся и объявил мне:

— Вот что, Дэвид, сынок: сегодня ты будешь со мной обедать. Безусловно и несомненно! — Новость озадачивала, поскольку прежде, когда я приходил к нему на службу, он никогда не звал меня обедать, хотя у него дома я обедал множество раз. — Да, сэр, — продолжил он категорическим и довольным тоном, — я все продумал. В подвальном этаже этого здания есть великолепное заведение, скромное, разумеется, но там чисто и в высшей степени пристойно. Хозяин — джентльмен ирландских кровей, я знаю его много лет. Благороднейшая нация. Никаких сомнений.

Это было из ряда вон выходящее событие: чтобы дядя пошел в ресторан? — я недоумевал. Приняв решение, Баском вышел из своего закутка к коллегам и с величайшим удовольствием огласил свои соображения.

— Да, сэр! — сочно почмокав губами, внятно объявил он собранию. — Мы войдем, усядемся, как положено, и я дам соответствующие распоряжения кому-нибудь из прислуги, — на этом слове он так аппетитно зачмокал губами, что мой рот наполнился слюной и в животе сладостно заняло. — Я ему скажу: «Вот мой племянник, новоиспеченный студент Гарвардского у-ни-вер-си-те-та, — он опять дурманяще зачмокал губами. — Да, сэр! — скажу я. — И посему обслужите его безоговорочно, безотлагательно, безусловно и, — выкрикнул он, потрясая костлявым пальцем, — безупречно!» А себе, — сник он, — я ничего не возьму. Сохрани меня бог! — презрительно фыркнул он. — Я брезгаю притронуться к их стряпне. Хоть озолотите. Я сон потеряю, если оскоромлюсь у них. А ты, сынок, — отнесся он в мою сторону, — ты получишь все, что пожелает твоя душа, — *все!* — Длинными руками он очертил в воздухе круг, потом закрыл глаза, топнул ногой и рассмеялся в нос.

Это сообщение мистер Брилл выслушал, обмякнув толстым лицом и от удивления разинув рот. Потом с нажимом сказал: — Итак, его надо накормить. Где вы намерены это сделать?

— Позвольте, сэр, — встревожился дядя, — я же объяс-

нил: мы пойдем в скромное, но превосходное заведение в подвальном этаже вот этого самого здания.

— Позвольте, Преподобный,— протестуяще сказал Брилл,— вы, конечно, шутите, что собираетесь повести племянника *туда*? По-моему, речь шла о том, чтобы *накормить* человека.

— Мне кажется,— язвительно сказал дядюшка,— что за этим туда и ходят. Мне совсем не кажется, что туда ходят бриться.

— Если вы пойдете туда,— сказал Брилл,— вас там как раз побреют, и не только побреют, но еще заживо оскальпируют. А вот накормить — этого там нет.— И, бурно расхохотавшись, он откинулся на спинку стула.

— Не обращай внимания,— брезгливо проскрипел дядя.— Я всегда знал, что эта низкая и пошлая душонка все обращает в смех, даже самое святое. Поверь мне, сынок: это во всех отношениях прекрасное место. А иначе,— грозно бросил он Брилли и остальным,— как бы я *помыслил* вести его туда? Как бы я *вообразил* вести племянника, сына собственной сестры, в такое место, которое не одобряю целиком и полностью? Да ни за что на свете! — взревел он.— Ни за что на свете!

И мы пошли, провожаемые гоготом Брилла и его напутствием мне в спину: — Не горюй, сынок! Когда разделаешься с тараканьей тушенкой, возвращайся сюда, и я поведу тебя кормить.

Хотя Брилл обожал вот так поддевать и просто дразнить дядюшку, в душе он питал к нему смиренное, уважительное и восторженное чувство; он уважал его незаурядный ум, в глубине души его трогало то обстоятельство, что дядя был в свое время служителем слова божьего и проповедовал во многих молитвенных домах.

Больше того, всякий раз склоняясь и благоговей перед дядиной просвещенностью, горячо рекомендуя клиентам его глубокие познания, Брилл лучился какой-то трепетной, отеческой гордостью, словно Баском доводился ему сыном

и на его таланты нужно каждую минуту открывать человечеству глаза. Чем он, собственно говоря, и занимался. Нервируя Баскома, он рекламировал его ученость перед совершенно незнакомыми людьми, впервые переступившими порог его конторы, побуждал дядю показать себя, «загнуть эдакое словцо». И его вполне устраивало, если дядя злобно и презрительно огрызался: только бы он при этом «загнул словцо». Однажды явился возобновить отношения пропадавший тридцать пять лет друг детства, и Брилл, расписав дядины совершенства, серьезнейше заверил пришельца: — Не сомневайся, Джим: нужен профессор, чтобы понять Преподобного целиком, а не наполовину. Простой --- его не поймет. Ей-богу, правда! — поклялся он, видя недоверчивость Джима. — Преподобный знает слова, каких наш брат и не слыхивал. Каких даже нет в словаре. Правду говорю! А он их вовсю употребляет, — победно кончил он.

— Любезный, — остужающе процедил дядя, — что вы несете? Вы же уroda нам представили, отрыжку природы. Чтобы мудреца нельзя было уразуметь... Чтобы грамотный человек не мог объясниться с людьми... Чтобы эрудит, подобно бессмысленной твари, вел темное, бессловесное существование... — Дядя зажмурил глаза и презрительно засмеялся в нос. — Хм-хм-хм! Вы за-конченный болван! — смеялся он. — Я всегда знал, что ваше невежество безгранично, но я не предполагал, что с ним потягается — нет, превзойдет его! — ваш кретинизм!

— Слышал? — ликующе зывал Брилл к приятелю. — Что я тебе говорил? Вот словцо так словцо, Джим, и один Преподобный знает, с чем его едят, в словаре его нет!

— Нет в словаре! — возопил дядя. — Господь всемогущий, сойди и дай язык этому кретину, как во время оно ты сподобил им его валаамову подругу!

Или еще: за своим столом Брилл ведет с клиентом задушевный, осторожный, конфиденциальный разговор, каким обыкновенно завершается предварительное соглашение. На сей раз в покупателя набивается итальянец: он ерзает,

как на угольях, на краешке стула, а великий человек заклинаясь тянется к нему всей своей чудовищной массой. Глухой и настороженный голос итальянца нет-нет и прервет занудливо-увещающее гудение Брилла. Итальянец сидит оцепенело, нескладное большое тело мается от неудобств тяжелого выходного костюма, волосатые большие пальцы с тупыми ногтями судорожно обжимают колени, из-под спутанных усатых бровей настороженно постреливают карие глаза. Вот он еще поерзал, потер для смелости колени и с заискивающе недоверчивой улыбкой спросил: — Сколько вы хотите?

— Сколько мы хотим? — развязно повторил Брилл, заводя свое горловое воркотанье. — А сколько у вас есть? Мы вас, предупреждаю, обдерем как липку! Мы хотим не «сколько», а все, что у вас есть! — И он с хохотом откинулся на спинку стула. — Верно, Преподобный? — адресовался он к вошедшему дяде. — Мы хотим не «сколько», а все, что у вас есть! Такой у нас максимум! И на проспектах надо его напечатать! Как вам кажется, Преподобный?

— Хм? — рассеянно отозвался дядя со своего закутка.

— Я говорю, я придумал для нас максимум.

— Что придумал? — как бы не доверяя услышанному, презрительно переспросил дядюшка.

— Максимум.

— Да не максимум, — с досадой воскликнул дядюшка. — Это совсем другое слово, — процедил он. — Культурный человек не скажет: придумал максимум. Это неправильно! — взорвался он. — Так скажет только невежда. Нет и нет! — отмел он окончательно. — Так не говорят! Решительно и бесповоротно!

— Ну ладно, Преподобный, — сказал притихший Брилл. — Вам видней. Как правильно-то будет?

— Придумал максимум! — огрызнулся Баском. — И никак иначе! Любой дурак это знает!

— Какого черта! — заспорил уязвленный мистер Брилл. — Я же так и сказал!

— Не-е-т! — ядовито отозвался Баском. — Отнюдь не

так! Вы сказали: придумал максимум, а правильное слово: максима. Оно и пишется иначе,— кольнул он побольнее.

— Как оно, интересно, пишется? — спросил мистер Брилл.

— А так и пишется: *максима*,— объявил Баском.— Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! — апостольски возгласил он. И в восторге от собственного остроумия он зажмурил глаза, топнул ногой и рассмеялся в нос.

— Ладно,— сказал Брилл,— плевать, как это пишется, важна суть: мы хотим не «сколько», а все, что у вас есть. И на этом стоим!

И Брилл действительно стоял на этом — открыто, не таясь и без уверток. Он зубами держался за свое — и не упускал чужого. И эта ненасытность, эта грубая неприкрытая алчность не отпугивала, а привлекала людей, внушала им неколебимую веру в личную и деловую порядочность Брилла. Возможно, это происходило оттого, что скрытность была не в натуре этого человека: свои планы он выкладывал всем и каждому, захлебываясь от брани и смеха, и всякий после такого представления уходил с уверенностью — вроде этого итальянца — в том, что Брилл — «душа-человек». Даже дядя, то и дело каравший коллегу презрением и сарказмом, и тот питал к нему своеобразное уважение, какую-то вымученную симпатию: в разговоре со мной он, случалось, вспоминал то или иное высказывание Брилла — и знакомая гримаса отвращения искажала его крупной лепки чуткое лицо, и вынужденный смех надсадно выкашливался через его замечательное нюхало и рот с надежной преградой из нескольких лошадиных зубов.

— Хм! Хм! Хм! Конечно,— гудел он в нос, глядя поверх задумчивым шалашиком сплетенных пальцев,— что взять с темного человека!.. Не думаю, чтобы... да нет, уверен, что Брилл за свою жизнь и полгода не проучился в школе. Вообрази! — Баском смолк, жутковато оскалившись, и выставил на меня свои пронзительные стариковские глаза, и эта неожиданная перемена в облике, то, что он как бы глянул на меня из своей глубины, где протекала жизнь,

бесконечно далекая от здешней,— это завораживало и сбивало с толку. Серые, острые, старые глаза, на одном паралитично запало веко, видеть это не мешало, зато придавало взгляду порой зловещее, недружелюбно-насмешливое выражение.— Вообрази,— переходил он на оглядочно-осторожный шепот,— чтобы человек мог... чтобы сказать такое... Ах, мерзость! Мерзость! Мерзость, сынок! — шептал дядя, в каком-то священном ужасе жмуря глаза, словно язык отказывался повторить всплывшую в памяти баснословную неприличность.— Можно ли *вообразить* такое, можно ли такое *помыслить*, если в тебе есть хоть гран, хоть *молекула* такта и воспитания? Нет, сэр,— убежденно говорил он,— исключается! Происхождение у него самое низкое, самое подлое и ничтожное! Хотя это несколько его не умаляет,— спохватился дядя из страха быть заподозренным в снобизме.— Нисколько! Нисколько! — тянул он нараспев, разводя длинной рукой невидимые струйки дыма.— Из такой же среды вышли замечательнейшие мужи, *цвет* нации. Безусловно! Безусловно! И несомненно! Ответь,— его набрякший паралитический глаз упирался в меня зловеще,— *Линкольн* — разве он был аристократ? Разве он происходил из состоятельной семьи? И в детстве его холили и лелеяли? Или наш бывший губернатор, нынешний вице-президент Соединенных Штатов,— разве он вырос в роскоши? Да ничего подобного! — выкрикнул дядя Баском.— Он родился в скромной и работающей фермерской семье и *ни на йоту* не изменился потом, остался самим собой — простейшим из простейших! Эти люди — украшение человечества. Никаких сомнений!

Он горестно размышлял, отсутствующе глядя поверх сцепленных пальцев, а я в который раз залюбовался благородным абрисом его задумавшейся головы, высоколобой и неприкаянной, которая не только печатью мысли, но и физическими пропорциями, и всей своей чистотой и незащищенностью так поразительно напоминала голову Эмерсона, и в такие минуты, как эта, мне казалось — я не

видел головы прекраснее и чтобы на ней так запечатлелась вся жизнь человеческая с ее одиночеством и достоинством, величием и отчаянием.

— Да, сэр! — снова заговорил он.— Конечно, он темный человек и некоторые его высказывания... Ах, мерзость! Мерзость! — жмурился и смеялся он.— *Какая мерзость!*.. Но (хм-хм-хм!) как не рассмеяться, когда он... Ох, не могу, сынок... Мерзость! *Мерзость!* — сокрушенно поникал он головой.— Как грубо... Как *хлестко!* — упоенно шептал он.

Вот эту хлесткость он втайне особенно ценил, и был случай, когда он завистливо пожалел, что не может прибегнуть к ее помощи. В тот памятный день дядюшка Баском, воздев руки, облек свою никчемность в слова пламенной мольбы: — Если бы тут был Б. Т.! Мне бы его язык! Чтобы сказать *похлеще!*

А случай был такой. Как-то дядя увез жену на зиму во Флориду, снял там домик. Поселок был маленький, скромный, в нескольких милях от фешенебельных мест и не на побережье, хотя имелась река, точнее, узкий залив, подгрызший полуостров и с приливами и отливами наполнявшийся и мелевший. Немногочисленное общество, зимовавшее здесь, довольствовалось одной-единственной церквушкой и одним-единственным священником, тоже из приезжих. Зимой священник заболел, для службы в церкви стал непригоден, и его малочисленное стадо, ища замену, прознало, что дядя Баском в свое время был священнослужителем. Они явились к нему и попросили занять пустовавшее место.

— Христос с вами! — поднял он их на смех.— Побойтесь бога! Я *вообразить* себе это не могу. *Помыслить* такое не смею. Я уже двадцать лет *законченный* агностик.

Стадо глядело на него озадаченно.

— Само собой,— сказал застрельщик, сухопарый земляк из Новой Англии,— мы тут, почитай, все пресвитериане, только я не вижу от этого помехи. Я так сужу: мы сошлись, чтобы славить господу, и нам нужен проповедник, неважно

какой веры. В конце концов,— благодушно заключил он,— особой-то разницы между нами нет.

— Славно, любезный! — фыркнул дядя.— Если вы полагаете, что между агностиком и пресвитерианцем нет разницы, то вам самое время проверить у врача свою голову. Нет, увольте,— протянул он.— Я не могу исповедовать то, чего не знаю. Не могу симулировать убежденность, которой у меня нет. Не могу проповедовать веру, которой не имею. Вот, сэръ, в двух словах мои воззрения.

Конфузливо потоптавшись и пошептавшись, они пошли прочь, и тут дядя уловил оброненное словцо: атеист.

— Нет! — вскричал он, и его паралитическое око зажглось боевым огнем.— Никоим образом! Никоим образом! Этим вы только показываете свое невежество! Это разные вещи! Ре-ши-тель-но и бес-по-во-рот-но *разные!* «Атеист» это не «агностик», а «агностик» — не «атеист»! Вы вслушайтесь,— призвал он,— и слова сами все объяснят, если у вас осталась хоть крупица разума. Атеист — это человек, который не верит в бога. Слово это состоит из греческого префикса «а», что означает «нет», и существительного «теос», что означает «бог», и следовательно, атеист заявляет: бога нет! Переходим,— продолжал он, нетерпеливо облизнув губы,— к слову «агностик». Разве оно такое же на слух? Не-е-т. А по смыслу? Никоим образом! А по составу? Ни в коем случае! *Агностик*. Из какого языка это заимствовано? Из греческого, конечно, это знает любой дурак. Какие слова его составляют? Та же отрицательная частица «а» и «гностикос», что означает — *знание*. Кто в таком случае «агностик»? — пытал он плавающим взором их непроницаемые лица.— Да что же вы?! — раздражался он.— Это же любой школьник сообразит! Не-знающий человек! Человек, который *не знает!* А вовсе не тот, кто *отрицает!* Никоим образом! — Он безапелляционно выбросил вверх руку.— Кто отрицает, тот атеист! Агностик же просто не знает!

— Не вижу разницы,— пробормотал кто-то.— По мне, и тот и другой безбожники.

— «Не вижу разницы!» — взревел Баском. — Уж помолчите, любезный, не позорьте семени своего!.. Не различать ночь от дня, черное от белого, безответственное глумление циника от выдержанной рассудительности философа! Лучшие умы нашего времени, — возгласил он, — были агностиками. Да-да, сэр! Цвет человечества!.. Великий Мэтью Арнольд был агностиком, — выложил он свой козырь. — И после этого вы не видите разницы?! Опомнитесь!

Собрание стропливо молчало, и тогда он сунул руку за пазуху и стал шарить там.

— У меня есть стихотворение, — сказал он, извлекая его, — собственного сочинения, — он смущенно прокашлялся, — хотя, разумеется, в нем есть следы влияния того гиганта, чье имя я только что назвал и кого с гордостью величаю своим учителем, — Мэтью Арнольда. Эти стихи, думается, лучше долгих разговоров объяснят мои воззрения.

Он призывно поднял палец и начал читать.

— Стихотворение называется, — сказал он, — «Моя вера», — и, выдержав паузу, начал читать:

Дано ль увидеть в час конечный
Долину, где не гаснет свет,
Где мертвый встанет к жизни вечной?
На сей вопрос ответа нет.

Вкусим ли радости сполна,
Чтоб в счастье распри позабыть,
Чтоб правила любовь одна?
Возможно. Может быть.

Там было еще семнадцать строф, и все их Баском огласил размеренно и с выражением, потом сложил бумагу и с ухмылкой оглядел присутствующих.

— Надеюсь, — сказал он, — я выразил свою мысль. Теперь вы знаете, что такое агностик.

Теперь они это знали. Он в такой форме выразил свою мысль, что крыть им было нечем. Они развернулись и пошли

ошарашенные. Но нашлась среди них настырная овца, дочь господня, коя измором слов и пылких взоров умела взять то, что нахрапом не получалось. Это была вдова, средних лет южанка. При ней были зрелые прелести, ластящая повадка, медоточивый голос. Редкий был тот священник, перед которым она склоняла голову, и редкий священник сам не склонял перед ней головы. И покуда другие расползались, дама двинулась вперед, искусенно повиливая бедрами, и триумфально возвышавшийся среди редеющей толпы дядя Баском вдруг увидел перед своим носом ее ласковое взыскующее лицо.

— Ах, мистер Хок! — пропела она с какой-то брюшной надсадой (его имя прозвучало у нее так: Хо-о-ок).— *Представляю*, какой вы были *вос-хи-тительный* проповедник! По лицу вижу, какой вы *хо-роший* человек.— Тут она подпустила утробный мык.

— Что вы, мадам, что вы,— смущенно заговорил Баском, взглядом, однако, одобряя ее порыв.

— Я слушала вас и обмирала, мистер Хок,— говорила вдова.— Я упивалась каждым вашим словом, *буквально* купалась в лучах вашей мудрости, мистер Хок! Вы читали это замечательное стихотворение, а я думала: как это замечательно, что такие люди поставляются на службу господу, как замечательно, что вот этот самый человек был служителем у господа!

— Ну что вы, мадам,— остужал ее Баском, румянясь от удовольствия.— Поверьте, я так признателен... такая честь заслужить похвалу столь... *по-настоящему* умной женщины... Но, мадам...

— Мистер Хо-о-ок! — стонала вдова.— Какое *наслаждение* слушать вас! Какое *наслаждение* ваш язык! Так надоела убогая, пустая болтовня — жаргонные словечки — неграмотность — куда мы катимся? — и какое *наслаждение* — да, сэр! — какое *упоение* слушать человека, который способен выражать свои мысли! Я с первого взгляда поняла и сказала себе: у этого человека дар слова. Дар! Дар! Дар! — каркала вдова, страшно мотая головой.— Такой

человек,— продолжала вдова,— волен делать со мной все что угодно — да, сэз! — решительно все, я это поняла, как только вы заговорили.

— Мадам, мадам,— рычал Баском, с достоинством клоня голову,— благодарю. Искренне и от всего сердца — благодарю.

— Да, сэз! Какое наслаждение, повторяла я себе, просто глядеть на него, на голову смотреть!

— На какого меня? — ужаленно вскрикнул Баском.

— На вашу голову,— объяснила вдова.

— Ах, на *голову*,— простонал Баском,— на мою голову,— и он дурашливо рассмеялся.

— Да, мистер Хок,— продолжала вдова.— Другой такой *великолепной* головы я не видела. Когда вы стали читать стихотворение, я сказала себе: только человек с такой головой мог написать такое стихотворение. Благодарение господу, сказала я себе, что свою *замечательную* голову он приставил к божьему делу.

— Мадам! — встрепенулся Баском.— Вы удостоили меня высочайшей оценки. Я не вижу средства отблагодарить вас. Но боюсь... и, *положа руку на сердце*, должен признать, что вы, возможно, не вполне поняли — не совсем уяснили — или же я выразил мысль стихотворения, его задачу — ах, конечно, я сам виноват — безусловно, безусловно,— это я, возможно, выразил его мысль недостаточно ясно.

— Нет, достаточно! — заспорила вдова.— Мне там все ясно как божий день. Я стояла и твердила себе: это же мои *собственные* мысли, только я не имела возможности их выразить, мне *некому* было их высказать. Но вот явился замечательный человек, говорю я себе, и в моей собственной голове все разложил по полочкам! Прикорнуть у его ног и дни напролет *слушать*, сидеть и внимать словам, просто *слышать*, как он говорит,— лучшей участи, говорю я себе, мне не надо!

— Мадам! — вскричал искренне и глубоко тронутый Баском.— И мне не надо! Я был бы в восторге! Да в любое

время! В любое время! — заклинал он. — Такая удача — такая *редкая* удача в наши дни встретить умную, думающую женщину! Нам нужно побеседовать еще раз, — сказал он. — Непременно!

— Угу, — воркнула вдова.

Баском зорко поискал в пределах видимости и слышимости тетку Луизу.

— Можно, — почмокал он губами, — как-нибудь совершить неспешную прогулку. Мирная природа, как ничто другое, способствует размышлениям. Никакого сомнения!

— Угу, — сказала вдова.

— Завтра, — шепнул Баском.

— Угу, — из чрева мурлыкнула вдова.

Так дядя Баском и вдова начали свой променадный курс, в продолжение которого он широко излагал свои убеждения, а она, имея родственную с ним душу, подтверждала совпадение взглядов. Тетка Луиза видела их отлучки, всякий раз она пристально глядела им вслед белыми безумными глазами, злобно фыркая и привычно бормоча: — Старый дурак... Жалкий скряга... Жена *раздетая*, а он спускает *состояние* на них... Это родовое... Кровь сказывается, — хрипло шептала она. — Они все безумны... У них в семье все эротоманы.

Однажды Баском и вдова загулялись и на закате были еще в миле от поселка. Место было пустынное; дорога огибала заливчик, петляя в чахломе сосняке и реденьких пальмовых рощицах; был отлив, в вязком илистом ложе стояли лужицы воды, какие-то птицы с погибельным криком носились над сиротской мокрой сушей, пахло ракушечным сором, морской пеной — застойно, крепко, волшебным, пьянящим пахло морем. Воздух и небо были неправдоподобно чисты, благостны, оранжевый шар остывшего солнца скрашивал унылое одиночество западного небосклона. Вдова и Баском с минуту полюбовались на эту картину, и вдова победно сказала:

— Мистер Хок, теперь-то вы понимаете, что *Кто-то*

должен был все это *сделать*? Что само собой это не может сделаться? Видя этот прекрасный закат, вы понимаете, что сотворить его мог только господь бог? Конечно, понимаете, мистер Хо-о-ок!

— Насколько красив солнечный закат,— сказал дядя академическим тоном,— вопрос спорный. Например, философ Гегель мало того, что не видел в нем красоты, но еще называл небесной оспой.— Баском закрыл глаза и фыркнул.

— Мистер Хо-о-ок! — укоряюще протянула вдова.— Я уверена, что вы так не думаете. Человек с *такой* головой не может разделять такие мысли.

— О! — воскликнул Баском, непонятно почему оживившись.— Никоим образом! Никоим образом! — И в пароксизмах непрошеного смеха он несколько раз с силой топнул ногой.

Воцарилось молчание. Безмерная, бурная радость, какая-то ликующая сила распирала дядю. Он поглядел на мелководье, поглядел на садящееся солнце, поглядел на вдову и от наплыва радости ничего не смог сказать.

— А что, если,— помолчав, начал он вопрошающе, но веселье снова обуяло его, он смолк, загримасничал, затопал ногой и рассмеялся в нос.— Что, если мы пойдем *вброд*? — К последнему слову он подключил выжидательный и искусительный носовой обертон.

— Вброд, мистер Хок? — нараспев удивилась вдова.— А ради чего?

— Ради... *устриц*,— ласково и искусительно пояснил дядя.

— Устриц! — вскричала вдова.— Разве тут есть устрицы?

Баском задумался, и чем дольше он думал, тем веселее ему становилось. Он закусил гуттаперчевую губу, зажмурил глаза и взрывно рассмеялся в нос.

— Ну конечно,— стонал он.— *Еще бы!* Устрицы всегда есть!.. Много!..

Вяло поупиравшись приличное время и не высмотрев в соснах и пальмах соглядатая, вдова опустила рядом с дядей и сняла туфли и чулки. И, взявшись за руки, они пошли по мелководью, которое редко приходилось им выше

колен: вдова ступала с опаской, балансируя корпусом и пугливо вскрикивая пищеводом, дядя же Баском шел смело и вселял уверенность.— Детка,— говорил он, пожимая ей руку,— это не опасно. *Совершенно* не опасно! — восклицал он.— Вы в такой же безопасности, как на руках у своей матери. Да, сэр! Будьте спокойны на этот счет! Никаких сомнений!

Вдова подобрала подол и узлом держала его в руке, наполовину открыв молочные ляжки, а дядюшка Баском закатал брюки выше колен, обнажив жилистые ноги, и мерил воду на манер аиста. Примерно на середине лагуны они ступили на плотную песчаную отмель и помешкали там, глядя на закат, разминаясь на своем пяточке, настолько поглощенные спускавшейся темнотой, уединенностью и самими собою, что оба не заметили, как начался прилив.

А он таки начался. Вода шла уверенно, напористо и помаленьку, вскипая буруном у края губы, приливная волна накатывала, откатывала, накатывала, откатывала, по шажку продвигаясь все дальше, и скоро ноги Баскома неприятно лизнула влага; он глянул вниз и увидел, как их земная твердь буквально тает на глазах; он тревожно вскрикнул, позвал на помощь, но никто не поспешил на его крики; он сгреб в охапку полноватую вдову, судорожным рывком поднял ее и нетвердо шагнул в воду. С первого шага вода дошла ему до колен, со второго до половины ляжек, а на третьем шагу он охнул и бросил ношу. Та завизжала, сразу погрузившись по пояс; она визжала, хватаясь за него, цепляясь, и Баскома прорвало — он начал богохульствовать. Он грозил кулаком бесстрастному вечернему небу, он поносил бога, в которого не верил, но оплошный шаг ввергнул его в пучину по горло; и он запросил пощады у провидения, взмолился о спасении. Ни он, ни она не умели плавать; возможно, особая опасность им и не грозила, но оба перепугались до смерти, ошалели, набрав в уши воды, и когда они наконец добрались до берега, силы оставили вдову: забыв в воде ноги, она простерлась, хрипло дыша, подобием измоча-

ленной Фрины*. И Баском стоял на ватных ногах, клацая зубами; с его понурых плеч, с длинных костлявых рук, по жилистым ногам безостановочно струилась вода; речь покинула его, он стучал зубами, натерпевшись страха, и струил по себе воду. Наконец вдова шевельнула замызганными, но безусловными прелестями и хрипло позвала:

— Мистер Хок! Мистер Хок! Возьмите меня, мистер Хок!

В ту же минуту страшная судорога перекосила лицо Баскома, он отверз уста, но слова не шли, он затряс обоими кулаками, но слова не шли. Он возвел хулу на небеса, но слова не шли. Собравшись с силами и не полагаясь на собственный арсенал, он, как упоминалось, истово и пламенно взмолился: — Если бы тут был Б. Т.! Мне бы его язык! Что бы сказать *похлеще!*

Так завершился роман между дядей Баскомом и вдовой.

Мне было тогда двадцать лет, шел мой первый год в Новой Англии, и зима казалась бесконечной. В людской толчее я тосковал, на улицах жизни чувствовал себя неприкаянно. В тот год я часто бывал у дяди.

Иногда я приходил в его пыльный закуток, где он корпел над мудреной юридической бумагой: плотно сжав губы, заполнял пустые графы, с мучительной осторожностью ставя прямые, разборчивые буквы. Не поднимая головы, он ровно говорил мне: — Здравствуй, сынок. Садись. Через минуту я в твоём распоряжении. — И некоторое время тишину нарушали только рев Брилла за перегородкой, тихое поскрипывание дядиного пера и немолчный, приглушенный гул времени, встававший над городом, сплетавшийся из миллиона городских голосов, но почему-то казавшийся далеким, изначальным, непреложным и вечным, заданным навсегда и не принимающим в расчет, кто там, внизу, еще шумит, а кто отшумел свое.

Или я заставлял его глядящим перед собой поверх арочно сцепленных пальцев, с печатью спокойной мысли на разгла-

* Куртизанка, легендарная модель «Афродиты Книдской» Праксителя. Афродита родилась из морской пены.

дившемся лице. В такие минуты он казался отрешившимся от всего, что мельчило и унижало его,— от нелепости и нескладности речи и жестикуляции, от постыдного скряжничества, от раздражительности по пустякам и еще от многого, от чего эта покойная сосредоточенность духа обращалась grimасой лица и души. В такие минуты его лицо было само раздумье. Порой он подолгу молчал — казалось, его мысль, отрясши будний прах, витает над краем времен.

Таким я и застал его однажды; помедлив, он расцепил пальцы, опустил руки на стол и еще немного посидел, расслабившись,— он до сих пор не взглянул на меня. Потом сказал: — «Что есть человек, что Ты помнишь его?»*

Стояли первые весенние дни; весна припозднилась и нагрелась по-северному врасплох. Она в одну ночь выломилась из-под земли, и воздух стал смягченный и певучий.

В приходе той весны были победа и предвестие; она пела и бабочкой трепетала у моих глаз, но я верил, что она принесет мне славу и небывалое утешение.

Я алкал и жаждал несказанно; на меня нашло фаустовское наваждение — никакая пища не насыщала, никакое питье не утоляло; ненасытным, обезумевшим зверем рыскал я по улицам, кланяясь булыжнику за милосердие, вымогая утешение и мудрость у миллионоликого окружения; я перерыл завалы книг на бесконечных полках, терзаясь слепотой и незнанием, а прочитав и узнав — не прозревал, разуверивался и отчаивался. Я хотел все знать, все иметь, быть всем — самим собой и еще многими, я хотел, чтобы тайна этого огромного роящегося мира была так же постигаема и осязаема, как чеканный рельеф монеты в моей руке.

И вдруг эта весна. Меня переполняли ликующая уверенность и восторг. В пыльное окно дядиной клетушки я видел край Фэней-холла, до меня докатывался клубящийся рыночный гул. Рынки глухо отрывали в размягченный певучий воздух, и я всей грудью вдыхал тысячи крепких, загадочных запахов, исполняясь верой в себя, верой в чудо, верой в то, что пелена упала с глаз,— что вожделенный мир

* Слова из Псалтыри (Псалом 8, стих 5).

у моих ног, и искомое слово сказалось, и терзавший меня голод утолился. И бурливые, изобильные рынки, колыхавшиеся там, внизу, были как бы живым свидетельством утоления. Тут-то, мнилось мне, только и дано почувствовать подспудный жар Новой Англии — той, что стелется грубой, каменистой почвой и чья красота сумрачна и неприветлива, чьи скалистые берега безлюдны, а рыбные места кишат ловцами; где белые, колючие, студеные зимы блистают алмазами звезд; там чернеют пихтовые леса и светится теплое жилье, при виде которого сразу воображаешь полные закрома, подвешенные окорока, сидр, скворчащее сало и теплое, белое, роскошное любимое тело.

Шуршит пестрядевое платье, во взгляде холодок — это днем; под низкой кровлей и при звездах снующе шелестят атласные бедра, не больно кусают белые зубы и душит свирепая женская ласка; но что днем, что ночью — отсутствует сердце, похерено чувство, стынет жар. А потом в эту долгую, по-могильному холодную зиму врывается весна — врывается, как было со мною, хватающим за душу вскриком, стуком дождя в оконное стекло и словно бы — откуда? — звуками клавишина; врывается, все будоража, и ночь напролет дребезжат ставни, лопаются почки, бурлит и беснуется расходившаяся вода, сияют цветы; весна врывается внезапная, скоротечная, ликующая.

И живое свидетельство в пользу такой догадки под рукой, в восьмидесяти ярдах от пыльного закутка, где трудится дядя Баском; ибо совершенно ясно, что таинственный этот люд довольствовался не только треской и горшком тушеных бобов: они ели мясо, и ели помногу, потому что в рыночном квартале весь день разгружались мясные фургоны, мальчишки тянули по мостовым огромные корзины с убойной, в заляпанных кровью передниках и обязательных соломенных шляпах брели мясники, нагрузившись филеями, огузками или грудинами, и в мясных рядах с посыпанным опилками полом туши висели как на смотру.

Обставшие центральный рынок справа и слева строения тянулись к гавани, на запах кораблей; берег здесь насыпной,

в стародавние времена корабли швартовались у тех вон булыжников, но пакгаузы тоже старые: потускневшие и благостно раскисшие, они удерживали аромат семидесятых годов, казались сошедшими с викторианских гравюр и приводили на память ветхие гроссбухи, конторщиков, спесивых толстосумов-купцов и негромкий колесный стук викторий*.

Днем в этом квартале настоящее столпотворение, *Gewirr***: тычутся фуры, серые в яблоках битюги, изматерившиеся ездвые, тормошится погрузка, разгрузка, суется посадка, там кончают, тут начинают — миллионы нитей прихотливо ткут жизнь и коммерцию.

Но если прийти сюда вечером, когда трудовой день кончился, и если будет та ласковая и негаданная весна, какие случаются в Новой Англии, если прийти в это исстари облюбованное одинокими юношами место, помнящее и паренька откуда-то из середины страны, и неоперившегося южанина, тоскующего по дому, по дивным холмам вдоль Старой Катобы,— то в такой вечер нашего паломника скорее всего снова пронзит горький юный восторг, исторгающий вопль, для которого не придумали слов,— заносчивый, неприкаянный, ликующий восторг, распляемый радостью и ослепленный честолюбием и при этом колеблемый мыслью — в такие минуты она поднимает голову,— что неосязаемое не дано осязать, непостижимое не дано постичь, что божественный миг истек, но его посулы и догадки юноша уже порывается воплотить в живую красоту. Промелькнувший миг он жаждет облечь в бедра, грудь и лоно прекрасной возлюбленной, он жаждет величия, славы, побед; этот летучий восторг он сгустит в эликсир и будет вечно вкушать бодрящую радость; а питает все эти помыслы горькая правда смерти: умрет эта минута, умрет этот день, умрет и нечаянная гостья-весна.

Вот это чувство радости, эта догадка о выжидающем чудесном утолении, что в такие дни сладким обещанием трепещет в воздухе,— они-то, видимо, и сообщают Новой

* Легкий двухместный экипаж.

** хаос (звуков), путаница, суматоха. (нем.).

Англии ее особую прелесть. И видимо, разгадка проста: эта мягкая и нечаянная весна, брызжащая минутной радостью и сбивающаяся на мираж, поющая об утраченном и сказочном не то своим голосом, не то голосом наших грез,— она тем и прекрасна, весна, что приходит после крутой, стыло оцепеневшей зимы с ее страшной опустошительной красотой, с трескучими морозами на погибель живому телу; но тело борется, оно всегда борется с грубым насилием, и поэтому здешняя резкая, с подковыркой речь, скупые жесты, замкнутость и подозрительность, поджатые губы, красные носы и недобрый пытливый взгляд — это вынужденное: не зная пощады от природы, здесь не ждут ее и от людей.

Как бы то ни было, после окончания рабочего дня юноша приходит сюда не опустошенный и выпотрошенный, а распираемый восторгом, ожидающий утоления. В здешнем воздухе смешиваются благоухание рынка и запах моря; вышагивая по лысому булыжнику мостовой под жестяными гофрированными навесами пакгаузов и продовольственных складов, он обоняет сотни злачных запахов: чисто, пронзительно пахнет дранка, вечнозеленой тоской по родным местам исходят апельсины, лимоны и грейпфруты, смердят испорченная капуста и раздавленная мякоть сгнившего апельсина. Размягченно и тяжело пахнут лаймовым соком цыплята, шибает в ноздри чешуистый запах холодной рыбы и устриц, бодряще, промыто благоухает огородная зелень — салат, капуста, молодой картофель, попачканный жирной землей, великолепный хрусткий сельдерей и, конечно, дыни, спелые золотистые дыни, обложенные духовитой соломой, и еще тепло веет тропиками — бананы, ананасы, авокадо.

В ласковом весеннем воздухе все эти запахи свежели, восхитительно утончались, от мостовой потягивало дегтем, расслаивались перемешанные ароматы, которыми восемьдесят лет питывались древние пакгаузы: тонкий сосновый душок тары, вязкое амбре компоста, полстолетия назад окаменевшего на дощатом настиле, запахи бечевки, дегтя, скипидара, пеньки, густой мелассы, женьшеня, виноградных

лоз и корнеплодов, прелый дух мешковины; чистый, крепкий запах свежемолотого кофе, прожаренного, знойного; запахи овса, сена в тюках, отрубей, яиц в корзинах, сыра и масла; и слышнее всего запахи мяса — замороженных туш, лоснящейся свинины и телятины, мозгов, печенки и почек, огузка, рубца и подгрудка,— и не только сырые запахи: в этом густо закопченном квартале имелось верхнее помещение, где мясники в компании с булочниками, банкирами, брокерами* и ученой братией наворачивали полновесные сочнейшие бифштексы, курящийся паром горячий хлеб, картофель в мундире.

Теперь — море, в него тут все упирается. Из этих закопченных, почтенного возраста, состоятельных кварталов дома сбегают в доки, и не оставляет ощущение, что море когда-то было и здесь, что этот клочок суши у него отвоеван. Булыжным грохотом припоздавшей тележки напомним о себе улица, что дозорно обегает порт, примечая закопченные мануфактурные лавчонки и закусовые, мощные связки товарных вагонов, сейчас выпотрошенных, пахнущих разомлевшей дощатой обшивкой и перемоловшими громадные пространства колесами.

К самой же воде подступают пирсы и склады, спокойно-сосредоточенные после выполненных работ; громоздкие, кричаще уродливые, они несут отпечаток повелительной красоты больших дел и свершений; они не заноятся, эти кирпичные близнецы, они просто-напросто выполняют свое назначение: их прошивают железнодорожные нитки, они вмещают в себя огромные составы; закончив трудовой день, они сейчас переводят дух, как уставшие живые существа. Гулко отзовутся в их выжидательной глубине шаги, замрет тарактенье припоздавшей тележки, отлетит голос рабочего, сказавшего «Спокойной ночи», — и спустится сосредоточенная волшебная тишина.

И теперь — само море, приберегшее свою прелесть и тайну для встречи с землей в порту, — море, разносящее с прилива-

* Посредник в сделках, специализирующийся по определенным видам товаров или услуг. В оригинале анафорическая аллитерация.

ми и отливами земное благоухание, поигрывающее и бьющее в осклизлые сваи, прикрывшее свое лоно плетением пенистых водорослей, прибывающее к берегу мачту и опочистый запах ракушечной муки.

А где море, там корабли: лихтеры, промысловые шхуны, молочно-белые яхты, делающие ночной рейс в Нью-Йорк, сейчас тоже сосредоточенно притихшие; помигивают фонари, вспыхивает надраенная медь, освещаются огнем кают-компаний — призрак радости и великолепия на темной морской глади, обещание любви под надутыми шелковыми парусами; и сверх этих видений и этих запахов май-чародей еще томит юношу невыразимыми грезами, несказанными прозрениями, и пусть он сейчас потерянно замкнулся — свои вождения и чаяния он знает: это слава, любовь, власть, богатство, вольные просторы и каждое утро новорожденная земля и живое, телесное исполнение всех его страстных упований.

Разумеется, Новая Англия не скупа на обещания, но охотнее всех падок до ее подспудной радости наш одинокий полуночник — тем более если парень родом с Юга, потому что только сердце южанина, наверно, способно постичь сокровенную суть Севера: он угадал ее в своих снах и детских предчувствиях, она для него невестреченная Прекрасная Елена, и неважно, что жизнь ткнет его носом в другое: он всегда будет верить в то, сокровенное, он всегда к нему вернется. И разумеется, все это в полной мере относилось к коряжистому жалкому старику, сидевшему сейчас в своей закоптелой конторе на Стейт-стрит, откуда рукой подать до праздника жизни: ведь это мой дядя Баском Хок никому не нужным и до невозможности несчастным юнцом пришел сюда из Старой Катобы, хотя теперь, случается, на него покажут пальцем: исконный, дескать, новоанглийский тип, — и все, что полагалось, тот юноша пережил и перечувствовал, и сколько бы дядя ни бранил здешний люд, здешний климат и здешнюю жизнь, но жить-то он вернулся сюда, в Новую Англию, и этот край был ему единственно дорог.

— Что есть человек, что Ты *помнишь* его? — повторил он с тем особенным нажимом, что предвещал приступ гримасничания. — Что есть человек, что Ты *помнишь* его? — сказал он еще нажимнее, обжигаясь словом «помнишь». — Хм-хм-хм!

И тут же спокойную сосредоточенность его лица скомкала гримаса, он не к месту прыснул. Минута — и лицо разгладилось и величаво возшло над арочно сцепленными узловатыми пальцами; он заговорил веско, раздумчиво. Сейчас он являл собой действующий разум во всем его блеске, высказывал высокие, основательные суждения. И едва отшельный дух мысли преобразил дядин лик, как нескладность и безумие его жизни перестали иметь значение, потому что мысли его были не о себе и не о деньгах.

— Несомненно. Несомненно, — раздумчиво сказал он. — Лучшие страницы в книгах Ветхого и Нового заветов не уступят мировым шедеврам слова, однако число этих страниц обычно преувеличивают. Там есть места — больше того, — выкрикнул он сипловатой фистулой, — *целые книги*, полные гнуснейшего вздора!

Он помолчал и голосом издалека, тем дальним накаленным голосом, что, декламируя стихи, приводил мужчин в содрогание, — этим голосом продолжал: — «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний»* — это, мой мальчик, победная песнь одного из могущественных земных поэтов, высокая речь человека, которому господь открыл тайны неба и ада, это могучие слова, великая поэзия. — И, ткнувшись лицом в костлявые кисти рук, он бурно, хрипло зарыдал: — Ах, господи! Господи! Какая красота, какая печаль... Ты меня прости, — шепнул он, промокая глаза вытертым и выцветшим рукавом. — Прости. Вспомнилось... Воспоминания.

И хотя это было вполне курьезное зрелище с маловразумительными словами в конце, но от всего повеяло какой-то муторной жутью, ведь мне было только двадцать лет, и я смешался, почувствовал стыд. А чуть погодя дядя Баском

* Слова из Апокалипсиса.

выглядел и вел себя как ни в чем не бывало, словно и не рыдал здесь минуту назад.

Не поднимая на меня глаз, он с осязаемой горчинкой в голосе ровно спросил: — Моих детей... ты кого-нибудь видел недавно?

Я удивился вопросу, в обычное время он словно забывал об их существовании, ему было безразлично, как они и что. Я сказал, что на прошлой неделе видел одну из его дочерей.

— Мои дети *подло и гнусно... подло и гнусно* покинули меня,— сокрушенно сказал он. Затем, как бы взглянув на положение вещей строже и терпимее, ровно и безразлично продолжал: — Я их никого не вижу. Ко мне они не ходят, и я к ним не хожу. Меня это не волнует. Да, сэр, не волнует. Мне безразлично. В высшей степени! Абсолютно! — И жестом руки он отмахнулся от этой темы.— Их *мать*,— добавил он,— та, видимо, их навещает... Она *безусловно* ходит к ним, когда ее позовут.— И снова я уловил в его голосе презрительную горчинку, точно жена предавала его, когда шла в гости к собственным детям; но в целом голос звучал пренебрежительно-равнодушно, о жене и детях он говорил как о чужих, он словно вчуже осознавал их на подступах к потаенному миру, в котором жил и действовал и где его душа стяжала свою блеклую участь.

Так оно и было: он пошел в родню и на своем веку прожил дюжину жизней — разделался с детьми, разделался с женой, забыл думать о них, забыл о них вообще, не нуждался в них. Но они-то, двое дочерей и двое сыновей, младшему из которых было под тридцать, а старшему за сорок,— они не смогли ни забыть его, ни простить. Он был их горькой живой памятью; и как эксперты ищут роковой изъян, подточивший хребет капитального моста, так они листали вспять мучительную хронику детства, перебирали годы разочарований и горечи под родительской крышей, и ни забыть те годы, ни освободиться от них, ни отречься они не могли. Его тень накрыла их: они не виделись с ним, но постоянно говорили о нем, пересмеивая его речь, жесты, манеры, и, значит, заново жили под его сенью и втайне чувствовали преж-

ний страх перед ним, благоговейный трепет, ибо его жизнь исполнилась, как сама того желала, хотя и вышла крученая-перекрученная: она шла своей колеей — и всегда к новому горизонту. У них же, спохватывались они, годы горькой водой падали на колесо жизни; колесо вертелось — они старели.

И сейчас, словно он их тоже увидел, заговорив о них, он сказал: — Они сами могут о себе позаботиться. Каждый должен сам о себе заботиться.— Выдерживая паузу, он огромным своим пальцем постукивал меня по колену и опалил испытующим взглядом.— Разве кто-нибудь *помогает* тебе умереть? И кто-нибудь следует за тобой в твою могилу? Разве можно что-нибудь *сделать* для другого? Нет! — решительно объявил он и, помолчав, медленно, в раздумье выговорил: — Не *сам* ли я себе помощник?

Задумавшись, он устремил отрешенный взгляд в проем арочно сцепленных пальцев. Сказанное в следующую минуту прозвучало как бы без связи с предыдущим, ворвалось отголоском разобравшегося в себе прошлого, сверкнуло огоньком, похищенным из кромешно темных тайников сознания: — «Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?»*

Он еще помолчал в забытии и грустно добавил:

— Я старый человек. Я прожил долгую жизнь. Много перевидал. Порой все кажется таким далеким.

И потом он снова увел глаза в пустыню, к сгнувшей земле, к погребенным людям.

После недолгого молчания он сказал:

— Надеюсь, ты появишься у нас в воскресенье. Обязательно! Обязательно! Тетка, по-моему, рассчитывает на тебя. Да, сэр, она что-то такое говорила. Или она собирается проведать кого-то из своих детей? Не знаю, не имею *ни малейшего* представления об ее планах,— выкрикнул он.— И никогда,— с нетерпеливой досадой продолжал он,— никогда не ведал, что у нее на уме. Поэтому решительно ничего не могу тебе сказать. Я не вникаю, что она там говорит,—

* Слова из Екклесиаста (глава 3, стих 21).

даже не слушаю! — Он отмахнулся рукой. — Скажи, — он больно устал палец в мое колено, сверкнул паралитическим оком и ухмыльнулся, — тебе встречалась *хоть одна*, которая способна поддержать связный разговор? Внимает доводам рассудка, трезво мыслит — *хоть одна?! Сынок!* — кричал он. — С ними невозможно разговаривать. Уверю тебя: невозможно. С тем же успехом можно перекричать ветер или заплывать Нил. В юности человек несет им сокровища своего духа, изводит на них нетленные накопления — мудрость, знания, философию, — только бы сделать их достойными своего общества, а в итоге, — горько молвил дядя Баском, — что *выясняется* в итоге? Что все свои силы он растратил на разговоры с идиоткой, — и он мстительно хмыкнул. В следующую минуту он перекосил лицо и гнусаво занял якобы капризным женским голосом: — Ах, мне *так* нехорошо! Ах, бо-же-мой! Наверно, вот-вот буду *нездорова!* Ах, ты меня больше *не любишь!* Ах, я хочу умереть! Ах, у меня нет сил *подняться!* Ах, принеси мне что-нибудь из *го-ро-да!* Если бы ты меня любил, то купил бы новую шляпку! Мне совсем нечего *надеть!* — Тут он загундосил совсем безутешно: — Мне стыдно показаться людям!

Мгновение-другое поразмыслив, он крутанулся в мою сторону и снова потыкал пальцем в мое колено: — Познать людей поможет — *кто?* — лукаво шепнул он, жутко застыв лицом. — Может быть, поэт говорит: *женщина?* Женщина, я тебя спрашиваю?! Ничего подобного! — вскричал дядя Баском. — Он говорит: «человек». То есть *муж-чи-на**.

Он снова помолчал, потом с едким сарказмом проговорил: — Твоя тетка любит музыку. Ты мог убедиться, как она обожает музыку...

Действительно, музыка была отрадой в ее жизни, на маленьком патефоне, подаренном кем-то из дочерей, она постоянно слушала великих композиторов, чаще прочих Вагнера, одна-одинешенька в зачарованном лесу, хмельной призрак на широких и пасмурных гремящих просеках, где сла-

* Здесь приводится строка из «Опыта о человеке» английского поэта А. Попа (1688—1744).

бо полаивают хриплые валторны. Иногда в воскресенье — вообще-то день ее редких вылазок в свет, а тут дочери купили абонемент в филармонию — она сидела в смутноватом зале с мертвенно-бледными греческими гипсами на стенах, пряменькая, воробушком замерев перед обольщающим змеем, вникала в каждую новую тему, чутко различала осторожное вступление флейт, валторн, холодела спиной, когда вскидывались скрипки, и ее одинокая и опустевшая жизнь ниточкой впрядалась в воздушную, празднично играющую ткань.

— Твоя тетка обожает музыку,— в раздумье повторил Баском.— Ты мог подумать... тебе могло показаться, что это ее заслуга... у тебя могла возникнуть мысль, что у тетки исключительное право на музыку... В таком случае ты ошибся! Ах, сынок! — достигал меня его далековатый голос.— Возможно, ты так думал, но ты ошибался... Скажи! — Он медленно повернулся ко мне, въедливо-вопрошающе сверля глазом, охлаживающе иронический.— Скажи: Пятая симфония — ее женщина написала? Теткин кумир, Рихард Вагнер,— *женщина*? Ни в коем случае! — взревел он.— Где их шедевры — их могучие симфонии, великая живопись, эпическая поэзия? Разве в женском черепе зародилась «Критика чистого разума»? Разве женский гений грандиозно расписал своды Сикстинской капеллы? Может, тебе приходилось слышать о женщине по имени Уильям Шекспир? И «Короля Лира» написала женская рука? Или ты листал сочинения прелестной барышни Джон Мильтон? Брал в руки стихи очаровательной немочки фройляйн Гёте? Может, наконец, тебя просветили труды мадемуазель Вольтер или мисс Джонатан Свифт? Хм-хм-хм!

Он помолчал, взглядываясь во что-то поверх составленных рук, и потом медленно и отчетливо произнес: — «Жена дала мне от дерева, и я ел»*. Так-то, сынок. В этом все их назначение.— Пылая одушевлением, он повернулся ко мне.— Соблазнительница,— сказал он севшим от напора чувств, надтреснутым голосом.— Подательница запретного плода. Посыльная дьявола. Испокон века они знают одно: помра-

* Библия. Бытие, гл. 3—4.

чать разум, сбивать дух сына человеческого с высоких путей, развращать, совращать и губить! Тихой сапой проникают они в потайные уголки его сердца и разума, как плодоямки, внедряются в его святая святых, действуя с хитростью змея, по-лиси,— для этого, сынок, женщина только и существует. И она не станет другой! — И, окутавшись тайной, он зловеще-проницательно шепнул мне: — Остерегайся! Остерегайся! Не обманись!

Уже в следующую минуту он имел спокойно-сосредоточенный вид и ровно, как о постороннем, даже поддразнивающе, словно бросая кость собаке, сказал:

— Твоя тетка, нужно признать, обладала порядочным интеллектом — в женских пределах разумеется. Сейчас-то ее соображение уже не то. Я не разговариваю с ней,— сказал он равнодушным тоном.— Не слушаю ее. По-моему, она говорила, что в воскресенье ты собираешься зайти. Не знаю. Не могу сказать, какие у нее планы. У меня свои интересы, у нее, надо полагать, свои. Музыка хотя бы... Да, сэр, музыка всегда при ней,— с презрительным равнодушием сказал он и, устремив взгляд поверх сцепленных пальцев, выбросил тетку из головы.

А ведь и он был молод, и он страдал и доходил до полного безумия. Ему тоже довелось испить горькую любовную чашу. Тетка сама мне это сказала, а он не стал отрицать. В разгар обильной трапезы она вдруг юрко, хищно дернулась ко мне через стол, огля безумным и ясным взглядом и бросила ту же острastку: — Берегись, Дэвид, берегись, мальчик: ты из их породы. Не хандри! Не хандри! Не надо все принимать к сердцу,— жарко шепнула она, вникая в меня безумно сверкавшими старческими лучистыми глазами.— Ты весь в них, это в крови,— обреченно выдохнула она.

— О чем ты толкуешь? — с безграничным презрением буркнул дядя.— Шотландская кровь! Английская кровь! Лучшие люди на земле, никаких сомнений!

— Рассеянное восприятие! Рассеянное восприятие! — залопотала она, получив любимый орех.— Мысли скачут во все стороны, минуты лишней не задержатся. Современные

декаденты! Ты почитай Нордау, Дэйв,— у тебя глаза откроются! Все вы одинаковые,— пискнула она.— Все зротоманы — все!

— А-а,— отмахнулся дядя.— Какую чушь ты несешь! Видимо,— кольнул он,— испытываешь на нас новейшую психологию. Черная магия недоумков.

Он, разумеется, ничего не знал о сем предмете; время от времени он перечитывал Канта, и если в сфере чистых форм, категорий, стадий отрицания и дефиниций концепта он чувствовал себя как рыба в воде, то она до тонкости знала свое путаное хозяйство — фобии, комплексы, фиксации, подавления.

Пропустив его слова мимо ушей, она снова потянулась ко мне и зашептала: — Сейчас-то я для него пустое место, а было время — еще как было! — когда он из-за меня сходил с ума. Старый дурак! — совсем кликушески выкрикнула она. Потом еще посунулась вперед и с тем надрывом, с каким предостерегала меня, шепнула: — Еще как сходил с ума, еще как! Пусть попробует отпереться! — вскрикнула она.— Он с меня глаз не спускал! Он себя не помнил, если мужчина просто посмотрел на меня!

— Совершенная правда, дружок! Совершенная правда! — без тени раздражения или возражения сказал дядя, непостижимым образом смягчаясь и делаясь сговорчивым.— Да-да,— проговорил он, всматриваясь в прошлое за пальчатой кроной.— Все совершенная правда, она говорит истинную правду. Я все позабыл, но что было — то было.— И он мягко покачал костлявой головой, прикрыл глаза, всматриваясь в прошлое, и рассеянно и смешливо поспеел над перегоревшими воспоминаниями.

Сразу после женитьбы год-другой его терзал темный демон ревности. Ревность затмила ему свет удушливой, губельной хмарью, злой отравой вошла в его жилы, влилась в ток крови, напитала ядом сердце, просочилась в извилины мозга и разъела его ненавистью, отравила ядом, повергла, помрачила, разладила. Его исхудавшее, костлявое тело кричало о полном истощении, ревность и страх стервятни-

ками рвали его потроха, в истребительную огненную прорву изводились сила и полнота его жизни, и когда все дошло до точки — здоровье, дела, рассудок, — так же внезапно ревность отпустила его; и жизнь воспряла от укромного родничка эгоизма, он охладел к жене, потерял к ней интерес, забыл про нее.

А она, страдальца, чувствовала себя кроликом, оцепеневшим перед янтарно налившимся зраком, под сковывающим взглядом припавшего к земле тигра — то ли прыгнет и прихлопнет лапой, то ли уйдет восвояси. Неистовая вспышка его чувства, слепое безрассудство его ревности ошеломили и смяли ее, и в последовавшие годы она недоумевала, оскорблялась и в конечном счете озлобилась на него за внезапное охлаждение, до такой степени окончательное, что он неделями не вспоминал про нее и, живя под одной крышей, едва ли осознавал ее присутствие, когда наедине со своими мыслями грохотно мыкался по дому, изрыгая проклятья и невнятицу, лязгая печными дверцами, вдохновенно шинкуя свою сыроедную снедь, и если она подавала голос, он раздраженно обрывал ее: — *Что?* О чем ты, господи! — и, тяжело ступая, уходил, непроницаемо замкнутый в свои дела. И когда вселенский заговор торжествовал над ним победу, когда господь попускал, чтобы кто-то околпачил его, обвел вокруг пальца, он катался по полу, молил пятками по стене и слал проклятья устранившемуся небу.

В опустевшем без детей маленьком доме Луиза ставила пластинки Вагнера, блюла чистоту и научилась препираться сама с собой и даже с кастрюлями и сковородками, когда скребла их и надраивала, и если посуда падала, она ее обязательно выбранит, поднимет с пола и отшлепает по дну, приговаривая: — *Ах, озорница! Ах, негодница!* — А если на ту пору в доме слонем ходил Баском, то ее единогогласные дебаты перемежались смехом: поникнув над своими кастрюлями, она раздражалась сладким хохотом с исходом в тихий вопль, потом сокрушенно крутила головой и снова принималась смеяться, а спросите, чему она смеется, — сказать ей будет нечего.

Конечно, ей в голову не приходило, что Баском у себя поперхнетя собственной тирадой, когда однажды вечером, подкрутив патефон, она поставила «Полет Валькирий» в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра. Оправившись от первого потрясения, взбешенный Баском ринулся к злонамеренному аппарату, который ладно бы себе играл, но ведь побивал его громкостью. Он с разбегу застыл, мгновенно оценив ситуацию: что рядом с аппаратом стоит Луиза, что она прыскает со смеха, разрешаясь вопливым клохтаньем и хитро поглядывая в его сторону. И что в руке у нее большой разделочный нож. Заорав, он бросился к себе в комнату, заперся на ключ, он истошным голосом кричал: — Мама! Мама! Защити!

Это происшествие чрезвычайно развеселило Луизу. Снова и снова ставила она эту пластинку, всякий раз давясь от смеха и визгливо клохтая. Она буквально лопалась от смеха.

Когда наутро Баском тихомолком ушел на службу, Луиза направилась к зеркалу. Она долго вглядывалась в себя, потом сказала:

— Не хватает, чтобы я сошла с ума.

В пятьдесят лет у нее было бескровное, по-птичьи заострившееся лицо, под ясными глазами в покрасневших веках набухли мешки; абсолютно седая голова; все ее аккуратное личико густо заштриховано морщинками. — Не хватает, чтобы я сошла с ума, — сказала она себе и стала изучать психологию.

По мере их появления она прочла все труды Уильяма Джеймса и профессора Уильяма Макдугалла. Подписалась на несколько журналов, сама написала книгу. Но издатели забраковали ее «Хирургию психоанализа».

— Я забежала вперед на целое столетие, — объяснила она одной из дочерей.

Ее жизнь исполнилась смысла. Ей далась в руки панацея: вскоре она убедила себя, что принадлежит к считанным единицам абсолютно нормальных людей и что Баском в полной мере безумен.

Но нет-нет и воскресали старая обида и недоумение,— даже сейчас! — и нет-нет она с горьким сожалением вспоминала и его поглощенность ею, и даже его умопомрачение от ревности.

Она тогда сказала истинную правду. Пока на третьем году брака у них не родился первый ребенок, молодого мужа осаждали демоны. Впервые в жизни его чудовищный эгоизм выбился из своей колеи, Баском раскрылся наружу, и окружающий мир повернулся к нему одними углами. Демон обладания, буйствовавший в нем, и убежденность в том, что предмет обладания не имеет равных себе во всем мире, навели его на мысль о всеобщем мужском заговоре против него с целью похитить бесценный предмет. Луиза была хорошенькая, привлекательная, мужчины заглядывались на нее, и видевший это Баском только что не терял рассудок сразу.

В ту пору он как раз начал пастырское поприще в одном илинойском городишке, и когда в самый разгар проповеди ему случалось увидеть в толпе ее лицо, он мертвенно серел, сбивался, поникал головой, хватаясь руками за края кафедр, словно его оглушили; придя в чувство, он будет обрывочно мямлить дальше, но дух его уже дергался раненым зверем, в животе холодело до дурноты, сердце сковывал отравленный панцирь, и тысяча страшных и глупых подозрений разом ударяла ему в голову. Ни в фантастических домыслах, ни в абсурдных догадках он не знал края, голова его кишела злой небылью, моментально сбывавшейся: он был не способен отделить реальный факт от исчадия горячечного воображения и, выдумав что-нибудь, тут же в это верил.

Ну а причина, какая-то причина была у этого безумия? Он ее не знал, хотя безумие свое сознавал. Как отравленный чувствует толчковое движение яда в жилах, так он в покойную минуту ощущал набухающие безумием капилляры мозга и волокнистую плоть. Разум противился, рассудок от метал — и все-таки безумие завладело им. Затравленный, истерзанный безумием, кляня все на свете, он сбегал в ноч-

ные улицы, он гулко вышагивал по ним, громадными ручищами облапив бока, и если темнота взрывалась хохотом, если из звуков складывались местоимения «он» и «она», он уверял себя, что говорят о нем и его жене и, может, еще о сопернике, и, обернувшись к говорившим, осыпал их проклятьями. Весь мир, казалось ему, весь город заняты исключительно им и его женой; мир полнился неприязнью и гнусными перешептываниями, и он сознавал себя жертвой мужского сговора, последним дураком и всеобщим посмешищем; в подавленном настроении, с вымученной улыбкой предстал он своей пастве, ловил их взгляды, сам смотрел врасплох, надеясь выявить прячущуюся насмешку, тайное злорадство и просто свидетельство того, что подоплека его мучений, бесчестье его ума и сердца, скверный запах его тайны им известны.

И он растравлял себя мыслью, что никакой тайны уже нет, что он, как младенец, ничем не прикрыт, что каждым словом и поступком он выдает свое горе, и порой на людях его корежило от стыда, ему хотелось закрыть лицо руками. Стыд наваливался свинцовой тучей: жгло ли его сознание бесчестья или испепелял страх, что над ним, дураком и рогоносцем, глумится весь мир,— все одно это был стыд.

С неоглядного вечного неба выпали гигантские призраки страха и свирепства и караульно нависли над ним, сквозь их мгlistую пелену кроваво стыли зимние огоньки затерянных поселков; никогда, думалось ему, не вернуться на землю радость и доверие, никогда не выветрятся из головы призраки смерти и безумия, и поскольку веру в бога он утратил, он рвался обрести хоть какую веру в человека, ему грезились нечто патриархальное, эдакий всемогущий и мудрый старец, которому можно открыть изнемогавшее сердце, и, может статься, он научит уму-разуму, подаст исцеление от губительной хвори.

Он не обрел этой подмоги, он сам отлично понимал, что нужного ему целителя и духовника не существует в природе; он был в тупике, не было никакой возможности облегчить

изболевшуюся душу, он полной мерой испил человеческого одиночества. Он не стал умножать свое бесчестье, разделив его с женой, и вообще за рассудком был догляд, и в самые провальные, больные часы здоровый инстинкт судил правильно, безумие называл безумием.

И вдруг оно отпустило его. Когда жизнь стала непереносимой мукой, безумие отпустило его. Оно спало с него, как опадает гудящее пламя, пожрав топливо, и скука, безразличие и чувство завершенности овладели им; измучив женщину, сбив ее с толку, он зажил своей, отдельной и непроницаемой жизнью, в которой будут новые почины, новые места и замыслы и где ему будет совершенно не до нее.

Глядя сейчас на старика, я словно держался за нить в прошлое. Заговори он, думалось мне, и живое прошлое, голоса пропавших людей, боль, гордость, безумие и отчаяние, миллионы картин и лиц из жизни, легшей в землю,— все, чему старики бывают свидетелями на своем веку,— все это откроется мне, вручится как бесценный дар, ибо это наследие молодняку от старших, исполнивших свое земное назначение. Моя алчность была сродни памяти: заговори он, думал я, и голод утолится.

На какое-то мгновение мне привиделись лики времени, проступившие сквозь мрак, переступившие через порог приоткрывшейся памяти,— лица ушедших американцев, их житейская сумятица и с дюжины кафедр воспламеняющий их Баском; истерзанный любовью и безумием, он шагает по американским улицам, бредет колеистыми дорогами, в темноте бормоча что-то и сжимая костлявые кулаки,— тащится под необъятным и суровым небом, мыкается по континенту хулущая, скрюченная фигура. Свет упал на его лицо, и тьма накрыла его; шел пустынный, современник котелков и турнюров, ровесник сумрачных воспоминаний, заложник времени, сомкнувшего вежды,— времени даже более древнего, чем саксонские таны и рыцарские погребушки.

Так что же, все это ушло?

— Давно все это было,— сказал старик.

Помучь, еще помучь меня, Бостон; слетевший лист, разломившееся облако. Любовь — ее голос не звучал ли в той пустыне?

— Давно... Как долго я живу. Сколько всего перевидал. Сколько мог бы тебе порассказать,— надорванно проговорил дядя, устало и равнодушно. Его глаза глядели тускло и мертво, он увял и сразу постарел.

И тут мне представилась поразительная картина, она потом годами тревожила мое воображение. Я увидел: за круглым обеденным столом тесно сидят старики и старухи, очень старые, старше дяди; у них хрупкие, фарфоровые лица, прозрачные и бесполое, почти неразличимые между собой. В молодости эти люди знали друг друга. Мужчины пьянствовали, воевали, распутничали, ненавидели друг друга, любили женщин. Иных снедали никчемный страх и зависть, обычные у молодых людей: наедине с собой они кусали губы, лиловели лицом, ожесточались сердцем; их глаза горели звериной злобой к ближнему; они проклинали чужой успех, радовались чужой неудаче, ликовали, прослышав или узнав из газет, что кто-то больно задет, унижен, сокрушен. Они боялись раскрыть свое сердце, облегчить его — боялись, что близкие высмеют их; в разговоре они были осмотрительны, язвительны и высокомерны. Чувство и убеждение они ставили ни во что и говорили только заведомую ложь. Зато ночью, под завывание ветра, они разносили по темным дорогам любострастные клики, трубили радостно, победно и сильно; снежным запахом дразнил плотневший, подобранный ночной воздух, потом снег шел, тихо сеясь в окна, скрадывая шорохом земные шаги, и надувал им в сердце угрюмую гордыню, охлаждал кровь обещанием чуда. Потайных желаний и грез у каждого была тысяча; каждому хотелось богатства, власти, славы и любви; каждый казался себе незаурядным, безупречным, талантливым; каждый страшился и заранее ненавидел соперника в делах и в любви; собравшись вместе, они испепеляли друг друга

взглядами, задирались, ревниво стерегли своих женщин, спиной чуя врага, особо красавчика с закружившейся от успехов головой купидона на белой спермацетовой шее.

Молодыми они страдали и боролись, эти старики, а сейчас все умерло в них; они мягко, вяло, еле заметно улыбаются, переговариваются тихими голосами, поднимают друг на друга глаза, в которых угасли желание, враждебность и страсть.

На пергаментных костлявых задах с ними сидели их старухи. Давно позади горечь и восторг юности с ее безрассудством, надеждами, горячкой крови и терзаниями, и томит и пугает их только дряхлый возраст и смерть. Эта — верная жена и плодовитая мать; эта — ненасытная прелюбодейка, сглотнувшая дюжину любовников, и тут же ее рогоносец-муж, оравший пронзенным зверем, когда впервые застал ее с другим; вот и этот другой; а этому мужу разоблачение неверной жены доставило болезненно-приятную растраву, он упивался этим чувством, побуждал жену к новым изменам, вымогал у нее презрение — в болячке была теперь вся его жизнь; и вот они все одряхлели и высохли и обрели сходство со старинным фарфором. Обращая друг к другу приветливые опалые лица, они смотрели глазами, отвыкшими ненавидеть и любить, желать и мучиться; они тихо пересмеивались, вспоминая сущую ерунду.

Им уже не хотелось выделиться, быть первыми; их не колотило исступление и не терзала ревность; в них не было ненависти к соперникам; не было желания славы; работа потеряла для них интерес, они ничего не ждали для себя; не блуждали в потемках и не исхлестывали в кровь пальцы о стену; не корчились от стыда на своих постелях, не проклинали злосчастные и скорбные дни, не рвали простыни пляшущими пальцами. Может, заодно у них отнялся язык? Отшибло память?

Почему старики молчат? Ведь им довелось знать боль, смерть и безумие, а они ведут занудные разговоры. Им довелось видеть пустыню, одичавший край, кровь убитых, уходившую в безответную землю,— ее и свою пролитую кровь они видели воочию. Куда же они девались — страсть,

боль, гордость и миллионами искр играющая жизнь? Неужели все ушло? Неужели они все лишились языка? И мне почудилось какое-то коварство в их взглядах, недобрый замысел, словно они знали, как избавить нас от печалей и заблуждений, но молчаливо договорились не выдавать свою тайну. А может, они не со зла, а из-за своей спячки, от скуки и безразличия? Может, они потому не говорят, что не могут ничего сказать? И даже память умерла в них?

Да. Слова подступали к горлу, но язык был мертв. Прошлое для них умерло, и в наши подставленные руки они высыпали горсть праха и тлена.

Сухие кости, горький прах? Пустыня с признаками жизни, тихий исход? Бесплодная земля?

И ничьи губы не шевелились в той пустыне? Ничьи глаза не высматривали с утеса бредущего к дому рыбака? И у реки — ничье сердце не опалялось любовью или ненавистью? Или хоть здесь, над зарывшимся в песок ветхим колесом с проржавевшей ступицей, над этими черепами — лошадиным и женским? Разве тут не любили?

Разве по миллиону улиц не постукивали одинокие шаги, в мешке из стали и камня не вскрикивало сердце звонко и страшно, не маялся в железном обруче мозг, мыкавшийся по ущельям? Неужели на этой необъятной и нелюдимой земле только и было дела, что расти, созревать и выбрасывать семя? А не уходить в леса, не топтать пустынный песок? И в миллион луженых глоток требовать жратвы? Неужели только это? Неужели нужно было родиться и двадцать тысяч дней только надрывать глотку? А любовь?! Ее голос не вопиял в этой пустыне?

Как бы не так. Вот куст сирени, под ним любовники; поодаль шумит лавровая рощица.

Мне вдруг подумалось, что если я возложу на дядю руку, если вложу пальцы в его ладонь, моя сила и молодость передадутся ему и я смогу разжечь его память живительным огнем, заставлю его старое сердце хоть часок пожить заод-

но с моим, молодым и сильным; заставлю его разговариваться.

Я рвался к разговору, какого до меня никто ни с кем не вел, неслыханные вещи надо было сказать самому и услышать от него. Я рвался узнать, чем была его молодость помимо ненастья, за вычетом бедности, одиночества и отчаяния. Все-таки ему исполнилось десять лет, когда кончилась война, при нем, бесславно поднимая пыль, разбредались по домам мужчины, что-то свое говорили за порогом, и не одно лето отпыхало при нем, не одно облако бросило бегущую тень на густую луговую зелень и не единственный раз сморщился на ветке последний лист; и пусть давно, очень давно, но ведь он слышал потерянные, упавшие голоса на Юге, и другие, ровные и будничные голоса ушедших людей, и миллион шагов, отзвучавших на улицах жизни, — он их тоже слышал. Он еще застал сумрачное, ханжеское время, канувшее куда и все, застал гром колес и копыт по булыжнику, знал, какого цвета горячая кровь; дикость, голод, страх — он это знал.

Неужели память обо всем этом ушла?

Я легонько тронул его, положил руку на плечо — он не шевельнулся. Из минувшего, из заглохшего и безъязыкого прошлого он шелестнул: — Как давно...

Тогда я встал и, оставив его одного, вышел на улицу, а там пел и ластился воздух, туманно клубился миллиононогий мужской рой, прелестные женщины и девушки шли как воплотившаяся музыка, там были море, мир, город, сильный, гордый и горластый, там все голоса времени сливались в единое звучание — то ли это песнь, то ли моление, то ли боевой клич. И я победителем раздавил сомнение, как змею: я воссоединился с миром, стал его частицей — и мир стал моим; тысячу раз опустошенный и истребленный, я тысячу раз наполнюсь и восстановлюсь; жизнь и смерть будут сбываться, как прилив и отлив; порожний я не засохну от скуки — я на всю жизнь заряжен бодрящей радостью. Безъязыкое страдание, ненасытный голод, безвыходное положение, неутолимое желание — мне такое не грозит, я чувствовал прилив радостной уверенности, все мне казалось по силам — и я выкрикнул: — Мое! Все будет мое!

Гулливер

Когда-нибудь кто-нибудь напишет книгу о человеке, который был слишком высок и всю жизнь томился среди величин, ему неподходящих; для которого размеры всего на свете — стульев, кроватей, дверей и комнат, ботинок, пиджаков, рубашек и носков, полок в пульмановских вагонах и коек в трансатлантических лайнерах, порций еды, питья, любви, равно как и женщин, большинству мужчин на нашей планете по их меркам вполне подходящих,— были малы.

Рассказ о шестивии такого человека по белу свету этот кто-нибудь должен написать с убедительностью непрерываемого авторитета и с такой страстью, силой и осведомленностью, чтобы на каждом слове была выбита золотая проба истины; и он в состоянии будет это сделать, потому что жизнь такого человека — это его собственная жизнь, потому что он сам ее прожил, дышал ею, шел по ней и проникся ею вплоть до самой тонкой бьющейся жилки еще с тех пор, как ему минуло пятнадцать, а также потому, что никто на свете не поймет его мир лучше, чем он сам,— со всеми присущими этому миру радостями и горестями, во всей странности его непередаваемого одиночества.

Мир, в котором протекает жизнь такого человека,— это мир, где живет только он, тот, в ком два метра роста, и нигде нет существования более странного и одинокого, чем в этом мире. Ибо настоящие различия в нашей жизни — это различия в мелочах, самые ужасающие пропасти — это те, которые можно померить ладонью, длиной шага, несколькими короткими дюймами, и именно они отделяют нас напрочь от видимого глазом мира, от жизни, которая нам мила, от комнаты, от двери, куда мы хотим войти, точно как если бы, заброшенные в звездные выси, мы наблюдали все это из безвозвратной неизмеримости межпланетного пространства.

Поистине, до мира, который мы видим и в который стремимся, нам дальше, чем до Марса, ибо ежесекундно мы в этот мир почти вхожи; нестерпимо близкий, теплый и осязаемый, он нестерпимо далек как раз потому, что так близок — всего один шаг, если бы можно было этот шаг осилить, одно слово, одна стена, одна дверь, если бы мы оказались в состоянии вымолвить, нащупать, отворить,— нас прищипоривает наша ярость, жжет, гонит с места наш собственный пыл, но мы томимся в кандалах за неприступными стенами собственного одиночества.

Быть великаном, одним из тех сказочных существ в милю ростом, про которых говорится в старинных легендах,— это другое дело. Ведь великан живет в своем собственном мире, ни в каком другом не нуждается и никуда не стремится; одним махом он перешагивает гору, одним глотком, возжаждав, выпивает реку, за день обходит полматерика, а после возвращается вечером домой на дружеский обед со своими приятелями-титанами, и скальное плато служит ему столом, холмы предгорий — стульями, а целиком зажаренные бычьи туши — лакомой закуской перед пиром.

Быть великаном в мире карликов — существом двухмильного роста среди шестидюймовых человечков — это тоже другое дело. Ведь когда его единственный огромный глаз слепнет, пораженный их коварством, великан заставляет горные кряжи вторить его оскорбленным воплям; разъяренный болью, он валит целый лес, в бешенстве размахивает стволом дуба и швыряет десятитонные валуны и обломки гранитных скал вслед утлым суденышкам поверженных в ужас людишек.

Он просыпается утром на чужестранном берегу — корабль разбит, товарищи утонули, а о нем самом все забыли; крошечные создания толпами штурмуют его тело, пускают крошечные стрелы ему в лицо, связывают его несметными переплетениями тонкой, как паутина, веревки, и необычайная история его жизни среди лилипутов становится средством, давшим возможность другому великану обратиться против скудоумия, низости и растленности в челове-

ском обществе разящие удары скорпионьего жала самой свирепой аллегории из всех, что когда-либо были написаны.

И карликом быть — но если в мире карликов, то это тоже другое дело. Ведь там, где все ростом в шесть дюймов, о твоём величии тоже будут судить только по сравнению с другими. Живешь себе — не то эльф, не то гном — у самой земли, отчаянно пытаешься покорить тропические джунгли поросшей маргаритками поляны, при этом в вышине парят чудовищные птицы — гигантские звонкие мухи и гулкие шмели, и бабочки в шатком полете разворачивают у тебя над головой огромные бархатистые паруса своих вырезных крыльев. И думаешь, что не рождалось еще людей, с кем ты не мог бы сравниться в росте, силе и величии; есть в этом шестидюймовом мире и кукуруза, и хлеба есть, и хороши они, вот только не растут длинней весенней травки. Ты бродишь по величественному сумрачному бору, который не выше сосновой поросли, и пусть здесь нет ни атлантических глубин, ни гималайских высот, пусть грандиознейшие горные хребты всего лишь кротовые кочки, зато уж звезды если и кажутся тебе далекими — далекими безмерно, — то и всем остальным они не кажутся ближе.

Наконец, быть одним из несчастных великанов и карликов нынешних времен — в числе тех жалких гигантов двух с половиной метров ростом и полуметровых лилипутов из цирка — это тоже другое дело. Ведь они теперь ведут свою жизнь в сплошном сиянии ярмарочных огней, и они любят эту жизнь и эти огни, а мир вне привычных огней для них призрачен и темен. Каждый день этот мир прет толпами под парусиновый шатер, чтобы, рассевшись, усладить око зрелищем их безобразия, а они выставляют себя напоказ перед лицом этого мира, и ни стремления к себе, ни интереса он у них не вызывает — в том виде, каким он им предстает. Наоборот: они живут тесным мирком уродцев, и этот мирок кажется им естественно и непреложно вылепленным самой природой. Они любят, ненавидят, интригуют, борются, предают и надеются, и они так же счастливы, печальны и честолюбивы, как все остальные люди. Двух с половиной



Нью-Йорк, Пятая авеню, 20-е годы

метровый великан и полуметровый лилипут — закадычные друзья; три раза в день они едят за одним столом, где собирается милейшее и интереснейшее общество, облагороженное женственным обаянием Толстухи Мэри и Бородатой Дамы и тонко приправленное пикантным острословием, в котором не имеют себе равных Джо-Джо Невесть-Кто, Живой Скелет и Моряк Сплошная Наколка. Но все-таки это тоже не имеет касательства к проблемам высокого человека — это еще одна дверь, которую ему не отворить.

Ведь он земной, обычный, он как все. Он вылеплен из того же теста, дышит тем же воздухом, мучается теми же страхами и воодушевляется теми же надеждами, что и все на свете, но бродит по людным улицам жизни одиноко — по тем самым улицам, что в часы разлива толчеи плещут волнами высотой в метр семьдесят. Он вечный чужестранец на этих улицах, притом что нет у него другой страны, нет другой жизни, нет другой двери, кроме этой, и при виде этой жизни глаза его загораются, а сердце невыносимо сжимается, истомленное страстным ожиданием. Но прекрасная зала жизни, где его размеры ничем ему не угрожали бы, недосыгаема, отъединена от него длиной его же руки, возвышением головы и горестно-никчемным нежеланием ноги влезть в ботинок; он вечно одинок — притом что чувствует, знает и желает проникнуть в жизнь, так и сверкающую прямо перед его глазами, близкую, как сердце, и далекую, как небеса, в жизнь, которую он в любой момент может пощупать рукой, но в которую никогда не войдет, не втиснется, не возвратит себе, все равно как если бы он был бесплотным облачком дыма.

Странное это испытание — быть чересчур высоким, однако в самой своей сути оно несет заряд своеобразной неосознанной человечности. Самым удивительным образом высокий приходит к познанию мира в том его виде, о котором другие не знают и узнать не способны. А дело тут главным образом в том, что отличие высокого от средних, обыкновенных людей носит характер чисто случайный. Ни в каком отношении, кроме своего необычного роста, высокий от всех

прочих не отличается. Подобно им и в точно той же мере он брат своего брата и сын своего отца. На самом деле — каким бы удивительным такой факт ни показался — можно с огромной вероятностью утверждать, что высокий никогда не думает о том, что он высок, никогда всерьез не осознает, что это именно он — «длинный», пока другие не напомнят ему о его росте.

Итак, жил-был некто «длинный», и наедине с самим собой он никогда не думал о своем замечательном росте; ему и в голову не приходило, что его размеры в чем-то отличаются от размеров большинства людей, которых он каждый день наблюдал вокруг себя на улицах. В действительности он пребывал жертвой странного заблуждения: по некоторой причине, каковую он сам не взялся бы установить, он втайне, не выдавая этого, не высказывая, но с полной убежденностью представлял себя таким, каким, конечно же, не могла бы воссоздать его облик работа разума, — скорее он безотчетно выдавал желаемое за действительное, то есть видел себя человеком среднего роста и размеров — что-нибудь метр семьдесят или метр восемьдесят, не более. Минутное размышление, разумеется, сразу же обличило бы перед ним искаженность такого автопортрета, однако все произвольное, все инстинктивное в нем заставляло его воспринимать (или, вернее, ощущать) себя именно таким образом. Поэтому всего лишь естественно, что когда внимание гиганта грубо и насильственно привлекали к факту его необычайного роста — а происходило это теперь, благодаря уличным прохожим, раз по сто в день, — такая новость отзывалась в нем неожиданным потрясением, обескураживала, а в конце концов вызывала мгновенную вспышку гнева и возмущения.

Бывало, шел он по улице в пять часов, когда весь город валом валит с работы домой, и вдруг до него доходило, что люди на него смотрят: он замечал, что они оглядываются и поддевают друг друга локтями, замечал их удивленные взгляды, с любопытством мерящие его с ног до головы, слышал их изумленные перешептывания, видел, что, миновав

его, они улыбаются, и слышал, как они, веселясь и недоумевая, обмениваются всякого рода восклицаниями — дескать, поразительно, невозможно! В такие минуты он готов был всех передуть. Под потоками издевок, шуточек и междометий — этих невыносимо скучных опивков перекисшего и безжизненного юмора, которые по всему миру одинаковы, никогда не меняются и которые проложили уже усталые борозды в сердце, в мозгу «длинного», вплоть до того, что он все это выучил как никто другой, — он чувствовал себя почти на грани того, чтобы душить остолопов, пока не помнеют, хватать их, сшибать лбами, злобно рыча:

— Ну что, черт бы вас драл, сами признаёте меня таким же, как вы, или мне каждому это втемяшить кулаками?

Итак, по сотне раз в день он служил мишенью для потоков плоского, докучливого, хотя и вполне беззлобного комикования, которое со временем стало таким привычным, таким обыденным, что уже не доходило до его усталого сознания. А его собственная реакция на эти потоки была, вероятно, той же, что и у любого другого «длинного», кто когда-либо вынужден был полной мерой хлебнуть мутного пойла человеческой глупости. Сперва он чувствовал только яростное и мгновенное возмущение юности — подводила предательская уязвимость задетой мальчишеской гордыни, ее боязнь осмеяния, скорая обидчивость, болезненная ее незащищенность перед пренебрежением, насмешками, ее готовность оскорбиться, ринуться в драку, мстить за раненую честь.

А потом появилось что-то вроде ужасного стыда и самоуничтожения — ощущение личной ущербности, заставлявшее его завидовать всем подряд обыкновенным людям и горько сетовать на несчастную игру рождения и природы, которая заключила дух яростный и гордый, к тому же вольный как ветер и пылкий как огонь, в такую вот нелепую камеру. А это чувство стыда, самоуничтожения и ненависти к своей собственной плоти есть худшее из всего, что ему пришлось претерпеть, это есть злейшее надругательство над его духом. Ибо как раз тогда-то, возненавидев тело, полученное от рож-

дения и от природы, самим появлением этой ненависти он уронил себя и оскорбил в себе человека. Ведь отвращение к собственному телу подобно постыдной злости, которую человек может испытывать к верному, но некрасивому другу, чьи цели совпадают с его собственными и чье долготерпение можно испытывать бесконечно. И он терпит — этот верный неказистый друг, эта нелепая камера-одиночка,— терпит, и повсюду его сопровождает, во всех безумных и яростных походах, и преданно служит этому человеку как никто другой на свете, и страдает от ударов и оскорблений, которыми этот человек осыпает его; он принимает на себя припадки бешенства, взрывы страстей и тупое опустошение, травмы, тошноту и боль — плоды неумеренных вожделений его хозяина, и в конце концов, изборожденный шрамами, избитый, опозоренный, оскверненный и загрубевший от хозяйских излишеств, он все-таки с ним, со своим властелином, неотвязный как тень, верный до конца; настоящий друг — непритязательный и такой добрый, любящий так, как больше никто и никогда не сможет, не покидающий тебя ни в каких невзгодах, стоящий за тебя неколебимо во всех твоих стычках и потасовках; это на него ложится основная тяжесть твоего пьянства и обжорства, это его бьют, когда ты попадаешь в жестокий переплет; это он вместе с тобой обивает пороги, это он считает ступеньки каждый раз, когда тебя спустили с лестницы, но в один прекрасный день ты снова обнаруживаешь его перед собой, как сумасшедший, у которого глаза вновь открылись навстречу свету и здравомыслию, обнаруживает друга, защитника и жертву его безумия,— вот он, тут как тут, стоя перед очнувшимся, кривит в улыбке разбитые, вспухшие губы и говорит с печальным юмором всепрощения:

— Ну вот, а все-таки мы вместе.

Странное это испытание — этот тяжелый, но драгоценный опыт, выпадающий на долю «длинного». Ибо в результате всех трудов, пота и горьких мук он постигает науку суровой, но не бесплодной гуманности. Он обретает нечто вроде особой грустноватой мудрости, которая больше никому

на свете не дается. Странная и грозная загадка его участи сближает его с людьми как раз тем самым обстоятельством, из-за которого он от них отъединен. Он входит в жизнь как раз через ту дверь, которая когда-то, казалось бы, закрылась перед самым носом; он земной, он такой же, как все, обычнее всех — именно в силу своей необычности. Гиганту не ускользнуть из мира, не избежать жизни, пусть даже он пожелал бы этого: жизнью изгнанный, он жизнью и пленен; куда бы ни побежал он, жизнь его догонит, и возвратит к себе, и ни за что не отпустит. И в конце концов до него доходит истинность желчных слов Эрнеста Ренана*: единственное, что может дать представление о бесконечном, это размеры человеческой глупости. А издевки, насмешки, шутовские выходки, которыми десять раз на дню награждает его улица за его замечательный рост, вопросы, задаваемые в той же связи, и бесконечные разговоры, все тем же ростом вызванные, приобретают для него значение подавляюще огромного скопления улик, свидетельствующих о фатальной тождественности всех людей, об унылой бедности их выдумки, о безнадежном однозвучии их остроумия.

По крайней мере, для каждого отдельно взятого гиганта оно всегда одинаково, никогда не меняется: как повелось изо дня в день и из месяца в месяц на многолюдных узких улочках по соседству, так и будет год за годом в сотне городов, в десятке стран, везде, во всех уголках света, и всегда одно и то же — унылая формула, бесконечно повторяемая с неутомимым упрямством идиотского мычания, — всегда одно и то же.

Так и не удалось ему обнаружить ни малейшего отклонения от этой унылой формулы. Никто и никогда не сообщил ему ничего интересного или забавного по поводу его роста — а ведь беседовали с ним на эту тему тысяч десять народу.

* Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1860). В «Истории происхождения христианства» (1863—1883) пытался осмыслить евангельские легенды, устраняя из них все сверхъестественное. Труды по востоковедению, философские драмы.

Ни один не сказал ничего смешного или остроумного про его рост, а ведь десять тысяч человек попытали в этом свои силы. Ни один ни разу не обнаружил ни малейшего понимания человеческой природы гиганта и не задал об этом ни одного тонкого и пронизательного вопроса, притом что любопытство, вызываемое его ростом, было неумным, а разговоры, в которые приходилось вступать, и вопросы, требовавшие ответа, были неисчислимы.

Эта унылая формула так беспрестанно повторялась, что мало-помалу проложила в мозгу гиганта вялые борозды, и он отвечал не думая, откликался не слушая, механически выдавал ожидаемые ответы, полагаясь на испытанную и надежную формулу, тысячи раз уже послужившую, и заранее знал, что и когда каждый скажет.

Может, в ней есть юмор? Ладно, пусть тогда кропотливый историк нашего народного юмора наострит уши и удостоит вниманием все те репризы, что несутся вслед высоченной фигуре некоего гиганта, удаляющейся по мостовым десятка тысяч улиц:

— Ух ты-ы!

— Ух ты-ы! Во парнюга!

— Ух ты-ы!.. Бог ты мой! ...Об-бал-де-еть!.. Глянь-ка на того чудика!

— Ух ты-ы! Эй, с'ушай, как там погодка наверху, а? ...Об-бал-де-еть!.. Ят-тор-чу-у!.. Да глянь же на того чудика!

— Эй, приятель, чо там в облаках, не сыро? ...Ну, ят-тор-чу-у!.. Ты глянь то'ко, во жердина, а?

Вот такие, стало быть, скоплены перлы посвященного этой тематике уличного остроумия — причем авторитеты самого высокого ранга со всей торжественностью утверждают, что, кроме перечисленных, больше никаких перлов нет.

Или, может, в беседе более вежливого и светского толка проявятся нотки благовоспитанного утешения? — во вкрадчивых комплиментах, призванных смягчить сердце и поднять настроение, проглянет что-то успокоительное? В этого рода разговорах прежняя формула звучит так:

— Какой вы длинный, с ума сойти!

— Н-да... ха! ха!.. н-да... ха! ха!.. Что верно, то верно... ха! ха!.. А вы уж заметили!

— Еще бы! Вы как поднялись!.. Сперва даже не по себе стало... (следует поспешная поправка), но это только с непривычки, а потом-то ничего... Я в смысле, что об этом забываете... Наверно, для вас это уж-жасно здорово, быть вот таким вот... Я в смысле, что большинство людей сами не прочь быть повыше... ну, все-таки это дает какое-то превосходство, правда? ...Я в смысле, что каждый хотел бы стать таким, если бы мог, — никому ведь неохота быть коротышкой, разве не так?.. Каждый предпочел бы уж лучше быть длинным... В том смысле, что все на вас смотрят снизу вверх — правда же? — где бы вы ни были... Вы ведь, наверно, не против, что я так?.. Вам-то, конечно, нравится, что вы такой вот... В смысле — ну, все-таки это дает большое превосходство, не правда ли?.. В смысле, вы меня понимаете?

— Да... ха-ха-ха! Ну конечно!.. ха-ха-ха!.. Конечно, в некотором смысле я вас понимаю... ха-ха-ха!.. Вы совершенно правы... ха-ха-ха! Ну конечно!

А может, дружеская шутка, неподдельное грубоватое участие вдруг вырвется из уст простого, но душевного человека? Ладно, представьте себе следующую картину — одну из тех, что на побережье нашего континента в лабиринте ночи перед каждым проходят тысячами. Мы в душной щели, выдолбленной в толще старинной стены с фальшивыми окнами, всажеными в трухлявую кирпичную кладку; внутри стойка бара, влажно блестящая и заляпанная там и сям круглыми следами мокрых стаканов; помятый медный поручень, давно нечищенный; сияние жесткого, мертвенного света; Лео, бармен с квадратным подбородком и темным лицом хозяина ночи, — профессионально внимателен; и, наконец, штампованные, мертвые лики ночи, хрипящая путаница пьяных голосов, локти выпивох, то и дело попадающие в натеки скверного пива.

Звонок; добряк Лео с суровым, настороженным прищуром наклоняется к глазку, дверь открывается, и входит Длинный, к которому тут же устремляется Пэт Гроган — остряк

по натуре, кельт по происхождению, записной шут в баре добряка Лео,— устремляется, потешно выпучив сочащиеся слезью и зверством красненькие глазки, ссутулив обезьяньи плечи, полусогнув в коленях кривые обезьяньи ноги, потешно задрав вверх щекастую обезьянью физиономию, и смотрит с видом обезьяньего остолбенения (все это донельзя потешно), тогда как Лео, хихикая, поглядывает искоса, а выпивохи ухмыляются. Ну, а дальше — следующим образом:

Г р о г а н (все еще в полуприседе): Гос-споди-и... Спятить можно! ...Ну и ну!.. На что это он там взгромоздился — ай, молодец!.. (Лео и все ухмыляющиеся выпивохи радостно и благодарно фыркают; поощренный, Весельчак Гроган продолжает.) ...Гос-споди-и! (Медленно поводя шеей — красное щекастое лицо все выше,— он мерит пришедшего озадаченным взглядом с ног до головы — тонкий прием, должным образом оцененный усмевающимся Лео и всей благодарной публикой.) ...Ай-ай-ай! Я его еще только увидел, как сразу думаю: ящик он себе под ноги подставил, что ли?.. (Поворачивается к Лео с жеманным смущением на лице.) ...Да хоть гляньте вы на него! Ну и ну!.. Кто ж это к нам пришел?.. (Лицом к ухмыляющимся зрителям.) ...То'ко это я его увидел, сразу говорю себе... Да что ж это, всам-деле? Цирк, что ли, в город приехал или как? (Снова разворачивается, показывает на незнакомого гиганта с видом честного недоумения.) ...Ну гляньте на него, вы!.. (Удовлетворенный успехом, присоединяется к своим довольным, ухмыляющимся приятелям и еще некоторое время продолжает развлекать их: бросает изумленные взгляды на длинного гостя, в недоумении качает головой и ошеломленно произносит.) ...Но это ж — гос-споди-и!.. Ну гляньте на него, вы! — и т. д.

И теперь уже Лео, медлительно и задумчиво покачивая головой в благодарном преклонении перед остроумием своего клиента, приближается к гостю-гиганту и, все еще от души подхихикивая своим воспоминаниям, наклоняется через стойку и доверительно шепчет:

— Эт' наш Гро-оган... (как бы оправдываясь). Слегка тут

подпил, так что не слушайте, что он несет... Он вовсе не к тому, чтобы цепляться! (Успокоительно, весомо.) Не-ет! Это ж такой славный парень, каких свет не видывал, когда не пьяный... а это он та-ак, дура-ачится... а вовсе не к тому, чтобы цепляться... но ить гос-споди-и! (Вспомнив, внезапно раздражается могучим смехом — жирные, мрачно-вато-не-спешные «ха-ха-ха» сотрясают все ночные отечности и складки его тяжелых брыл.) ...Ну как тут не смеяться... да к тому же это у него вышло-то как здорово — ящик себе под ноги подставил, что ли... ха! ха! ха! ха-ха!... Только он это не к тому, чтобы цепляться!.. Не-ет! Это ж такой славный парень, каких свет не видывал, когда не пьяный!.. Ну, здорово это у него вышло — ящик себе под ноги подставил, что ли,— это он хорошо сказал!.. Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! (И тяжело удаляется, колыхаясь от медленного, ночного смеха, неторопливо и задумчиво покачивая головой.)

Теперь, когда гость, оставленный в покое, стоя в сторонке, пьет, среди выпивох, теснящихся у другого конца стойки, разгорается оживленная полемика, и время от времени из общего гомона доносятся отдельные возгласы — обрывки клетвенных заверений и яростного несогласия, вроде следующих:

— Не-ет! ...Да ну тебя! ...Ну ты скажешь!.. Да в нем уж конечно... А давай на спор! ...Не-ет! ...Да ну тебя! ...Да в нем два десять, это как пить дать! ...Да ну тебя! ...А давай на спор! ...Ну ладно! Ла-Дно! ...Ну давай, спроси у него сам! ...Ну конечно больше! Давай на спор!..

Один из спорщиков отделяется от полемизирующей группы и с кружкой пива в руке подходит к одинокому гостю. ...Лицо не плохое, не злое, не враждебное — обычный горожанин, лет под пятьдесят; персонаж, словно сошедший с картинки в газетном комиксе: втянутые щеки, лоб в складках, большой нос, глубокие морщины, рот слегка запавший — лицо словно из-под металлического клише, а столько наглого всеведения, циничной самоуверенности — нервные окончания притуплены, речь грубая,— во всем безоши-

бочно узнается исчадие большого города.

И с ч а д и е г о р о д а (дружелюбно, как бы слегка оправдываясь, ухмыляется, понижает голос и говорит, по привычке не разжимая губ, одними уголками рта): ...Пр'шу пр'щения, старик... У меня к тебе вопрос тут один в'зник — не в'зражаешь? Вот мы с приятелем все никак насчет тебя не сговоримся... и у меня к тебе вопрос тут один в'зник... Ты как — не в'зражаешь?

В ы с о к и й н е з н а к о м е ц (машинально ухмыляясь и услужливо испуская подходящий к ситуации смешок, фальшивый беспредельно): Разумеется! ...ах-ха-ха!.. Ну конечно! ...ах-ха-ха!.. Давай шуруй, чего там. ...Ах-ха-ха.

И с ч а д и е г о р о д а: Потому что, если в'зражаешь — так и скажи, не обижусь. ...К тебе, поди, куча народу с одним и тем же вопросом лезет, и я подумал, может, тебе надоела уже эта волюнка — ты меня понял? ...Это ж кого угодно достанет, если лезть всю дорогу с одним и тем же вопросом... (На лице затруднение; выразительно передергивает плечами и говорит с надеждой.) Тып-понял?

В ы с о к и й н е з н а к о м е ц: Так ведь... ах-ха-ха! ...Да... пожалуй, да... То есть — давай шуруй... ах-ха-ха!.. Ничего страшного.

И с ч а д и е г о р о д а: К тебе, поди, такая куча народу с одним и тем же лезет, что ты, видать, и сам уже с'бразил, что это за вопрос,— так, нет?

В ы с о к и й н е з н а к о м е ц: Так ведь — да — нет — ах-ха-ха... То есть — Да!.. Да, наверно!

И с ч а д и е г о р о д а: Ну дак вот, старик... если не в'зражаешь... если ты не против... Я только хотел спросить... (Доверительный шепот.) ... просто мы с приятелями все никак насчет тебя не сговоримся — в тебе сколько расту? ... (Поспешно.) Ну, а если не хочешь мне говорить — ланне-надо! ...Ты ж понимаешь, некоторым...

В ы с о к и й н е з н а к о м е ц: Да чего уж там — ах-ха-ха — нет, конечно, то есть да — ах-ха-ха... все нормально. ...Совершенно никаких возражений... Во мне примерно сто девяносто семь — сто девяносто восемь... то есть я уж давно

не мерился... но в последний раз, когда я мерился, было примерно сто девяносто семь — сто девяносто восемь... (Виновато.) Правда, это уже давно было... Несколько лет уже, как я не мерился... но... ах-ха-ха... тогда было примерно сто девяносто семь — сто девяносто восемь, и с тех пор я вряд ли сильно подрос... ах-ха-ха. ...Где-то между сто девяносто семь — сто девяносто восемь.

Исчадие города (с удивленным, но несколько разочарованным видом): Эт-точно? ...А я думал, в тебе больше! ...Я думал, в тебе два десятка, не меньше... Тут один тоже говорил, что в тебе не будет двух метров... (Задумчиво.) Сто девяносто семь — сто девяносто восемь, хм... Но эт-точно? Я-то думал, в тебе больше!

Высокий незнакомец: Нет... ах-ха-ха... это очень многие так думают... но я полагаю, все правильно... где-то между сто девяносто семь — сто девяносто восемь...

Исчадие города (шутливо): Слушай! Знаешь, что тебе надо сделать?.. Знаешь, что бы я сделал, будь я такой громадиной, как ты?

Высокий незнакомец: Ну, в общем, нет... ах-ха-ха! А что такое?

Исчадие города: Вышел бы на ринг и побил бы Джека Демпси. ...Я бы их всех там побил... Вот бы я что сделал! Громадина вроде тебя может так врззть! А с твоими руками им же тебя не достать. Эх, вот бы я что сделал — мне бы твои габариты! Вышел бы на ринг — так-то вот! — на ринг, вот куда бы я пошел, будь я громадиной вроде тебя.

Высокий незнакомец (с машинальной легкостью оказываясь на должном уровне): Знаешь, я бы на твоём месте радовался, что ты не такой... Ты и не представляешь, как тебе повезло.

Исчадие города (медленно, с любопытством): Ха, неужто?

Высокий незнакомец (гладкой скороговоркой оттарабанивает свою небольшую речь): Конечно. Для таких, как я, куда ни повернись, везде одни неприятности.

Исчадие города (с ещё большим любопытством):

Ха, неужто?

Высокий незнакомец: Конечно. Нигде не найдешь себе ничего по росту.

Исчадие города (до него медленно, с натугой доходит): Слушай! А ведь и в самом деле верно!

Высокий незнакомец: Ну ясное дело! Ни кровати не найдешь по росту, чтоб выспаться...

Исчадие города (любопытливо): Спать, небось, приходится сложившись вдвое, а?

Высокий незнакомец: А как же иначе. Вот так — гляди! (Производит рукой зигзагообразное движение, и Исчадие города раздражается хриплым смехом.)

Исчадие города: А с одежкой как? Все, небось, приходится шить на заказ, а?

Высокий незнакомец: Конечно. (Далее, в соответствии с той же самой формулой, рассказывает своему пораженному слушателю о том, что кровать у него дома на полметра короче, чем надо, что невозможно вытянуться во весь рост ни на вагонной полке, ни в койке на пароходе, что пока сойдешь по лестнице, если она чуть покруче, весь лоб расшибешь о балки, что в театре и в автобусе вечно некуда девать колени,— и все остальное. Под конец Исчадие города хлопает себя по лбу с таким видом, будто на него, при всем недоверии, снизошло бог весть какое откровение, и, медленно проговорив: «Ай-ай-ай, ну что ты скажешь!», идет делиться этой поразительной информацией со своими нетерпеливо ожидающими приятелями.)

Вот так на тысячах улиц всевозможных городов, во всех уголках света действовала сия непреложная формула; данная от века, не меняющаяся никогда, она показала этому очень высокому и одинокому человеку унылое единообразие жизни, и она же — как это ни странно — мучительным и необъяснимым образом в конце концов наделила его такой верой в человека, внушила такую убежденность в изначальном людском великодушии, добросердечии и гуманности, какой больше ничто на свете дать не способно.

Нет двери

Удивительно, с каким воодушевлением зажиточные люди, не знавшие и минуты одиночества, завидуют радостям одинокой жизни. Я знаю, о чем говорю. Почти всю жизнь я был одинок — более одинок, чем кто бы то ни было, — а с этими благополучными людьми тоже одно время встречался. До чего же их привлекает одинокая жизнь! Вечером их возят по загородным домам, где их с нетерпением ждут жены и дети, или по роскошным городским квартирам, где очаровательная жена или любовница с надушенным, холенным телом встречает их радостной улыбкой и нежными объятиями. И все это, оказывается, горстка холодного праха и золы, пригоршня остывших углей.

Порой кто-нибудь из них пригласит вас на обед. Ваш хозяин — приятный господин сорока шести лет, лысоватый, цветущий и упитанный, но без малейших признаков грубости или чувственности — словом, вполне утонченный миллионер. Черты его, хотя и крупные, выражают чувствительность и ум, манеры у него мягкие, неназойливые, а улыбка грустна и тронута иронией, как у человека, который прошел через все мучения, неистовства и надежды юности и знает теперь, чего ждать от жизни, — улыбка человека, «чьих век коснулась усталость», — примиренного, но не поддавшегося горечи.

И все-таки жизнь не слишком сурово обошлась с нашим хозяином — дорогие, бесценные вещи, которыми он себя окружил, свидетельствуют об этом ненавязчиво, но красноречиво. Он живет на верхнем этаже в доме у Ист-Ривер; квартира обставлена с изысканным вкусом — тут несколько голов и фигур работы Джейкоба Эпстайна, в том числе и портрет хозяина, который скульптор сделал «года два

назад, когда я был в тех краях», тут же собрание редких книг и первоизданий, и, насладившись созерцанием этих сокровищ, вы вместе с хозяином выходите на крышу, чтобы полюбоваться видом на реку.

Вечер наступает быстро, тонкие запотевшие бокалы у вас в руках издают слабый, нежный звон, перед глазами пылает огромный, раскинувшийся без края город, и занавес вздымающихся к небу башен усыпан уже алмазной пылью миллионов огней, за ним село солнце, и красный свет гаснущего дня разлит по реке; вы видите, как мимо проходят лодки, буксиры, баржи, видите крылья мостов, распростертые над водой, и уже спустилась ночь,— и вон корабли там — там корабли, и в вас поднимается темное, нестерпимое желание, которого вы не можете выразить.

Когда вы возвращаетесь в комнату, вы уже далеко от того Бруклина, в котором теперь живете, и все, чем был для вас этот город в детстве, когда вы его не видели еще и не знали, снова кажется возможным и вот-вот осуществится.

Образ великого города горит в вашем сердце всеми волшебными цветами, как в прежнее время, когда вам было двенадцать лет. Вам кажется, что сейчас на вас снизойдет счастье, удача, слава и вы займете место среди великих людей и прекрасных женщин, место в жизни, более счастливой и радостной, чем та, которую вы знали,— эта жизнь — здесь, ждет вас, один только дюйм — и вы до нее дотронетесь, только слово, если вы его произнесете, только стена, дверь, шаг, если бы вы знали, куда идти.

И снова в вас просыпается старая, бессмысленная, немая мечта о том, что вы отыщете ее — дверь, в которую можно войти,— этот человек вам ее покажет. В самом воздухе, которым вы дышите,— предчувствие невероятной удачи. Вы хотите выведать у хозяина чудесный секрет, который дал ему такое могущество, такую власть и свободу, который избавил его от мытарств, от животной борьбы, боли, ярости, голода, и кажется, что сейчас он откроет вам, выдаст этот чудесный секрет,— но он не говорит ничего.

Тогда на миг возвращается извечная, непостижимая тай-

на времени и города, и вы чувствуете, что бессильны перед ней,— вы тонете. Этот человек, его любовница, все богатые люди, которых вы знали, возникают перед вами с нестерпимой ясностью, но жизнь их и их время чужды вам, как сон; вы чувствуете, что обречены скитаться среди них словно призрак, и никогда не постигнете их жизни, не сможете жить в одном с ними времени. Вам кажется, что перед вами мир существ, научившихся жить без усталости и страданий,— неведомый мир, к которому вы не прикоснетесь и не приблизитесь, потому что люди его живут не в тех измерениях, не в том времени, в каком живете вы, мерят его не минутами и часами, не днями, не годами, но мерами бездонных и незапамятных чувств, и какой-нибудь прошлый миг удален от них тысячами энтузиазмов, пьяных ночей, миллионами жестокостей, сотнями балов, любовных приключений, тысячами измен и предательств, отчего души их обрели баснословную, чудовищную зрелость, словно они никогда не были невинны и молоды, и это наполняет вас таким ощущением, будто вы тонете в море ужаса, в море слепого, древнего, незапамятного времени. Нет двери.

Но тут ваш хозяин с его иронической, горькой улыбкой наливает себе в высокий бокал со льдом порцию доброго ржаного виски, задумчиво причмокивая губами, подносит его ко рту и после двух-трех рассеянных глотков начинает грустить о тяжком жребии, выпавшем на его долю.

Пока его любовница, уютно примостившись на краешке мягкого кресла, разглаживает прохладными пальчиками его нахмуренное чело и пока вышколенный Понсонби или Като бесшумно раскладывает его вечерний костюм и крахмальную рубашку, он мрачно глядит в пустоту и, горько усмехаясь, поздравляет вас с тем, что вам выпало счастье жить в одиночестве в армянском районе Южного Бруклина.

— Что ж,— отвечаете вы,— одинокая жизнь в Южном Бруклине тоже имеет свои недостатки. Ваша комната похожа на спальный вагон, только укороченный и с двумя окошками — по одному в каждом конце. Переднее забрано решеткой, чтобы в комнату не влезли обитающие в прият-

ном соседстве головорезы. Зимой там холодно и темно, и холодные стены потеют, сочатся водой, летом потеть уже приходится вам, и потеете вы вовсю, потому что жара стоит адская.

Больше того,— и здесь вы начинаете входить в азарт,— когда вы утром встаете, сладкое благоухание старого Гованус-канала лезет вам в нос, в рот, в легкие, во все, что вы делаете, думаете или говорите! Это,— продолжаете вы,— оглушительная, гигантская вонь, симфонический запах, мощная органная нота одуряющего аромата, хитро составленного, соединенного, смешанного из восьмидесяти семи отдельных гниений.— И, мало-помалу воодушевляясь, вы перечисляете их все.— Здесь,— говорите вы,— запах растопленного столярного клея и горячей резины. Здесь вонь разлагающихся кошачьих трупов, душок тухлой капусты, доисторических яиц и древних помидоров, зловоние гниющих потрохов и жженных тряпок, смрад дохлой клячи и жилья вонючки, здесь застойные миазмы сточных вод и...

А в это время ваш хозяин, в восторге закинув голову, с силой втягивает носом воздух, как будто слышит в этой орде запахов дыхание самой жизни.

— Чудесно! Чудесно! — восклицает он.— О, просто шикарно! Изумительно! — И снова закидывает голову, заливаясь ликующим смехом.

— Ну, Джон! — говорит его дама с выражением упрека на хорошеньком личике.— Не понимаю, что тебе могло так понравиться. Какое страшное место! Звучит это просто отвратительно! — произносит она, слегка передергиваясь.— Просто ужасно, что людям позволяют жить в подобных местах!

— Нет! — восклицает он.— Это чудесно! Сколько в этом силы, яркости, красоты!

— Что ж,— соглашаетесь вы,— это и вправду чудесно. И уж конечно, яркости и силы там хватает. А что до красоты — это другое дело.— Насчет красоты вы не вполне уверены, но, не успев даже договорить, вы вспоминаете о многом. Вы вспоминаете невыносимо душный августовский день

и могучую, тяжелую, в серо-стальных яблоках лошадь, медлительную и мохноногую, стоящую у обочины тротуара. Возчик отпряг ее от повозки, и она словно ждала чего-то, терпеливо и печально понунив большую голову, а рядом с ней стоял черноглазый, смуглолицый мальчик и протягивал ей сахар. Потом возчик, у которого было жесткое, иссеченное морщинами лицо горожанина, подошел и окатил ее водой, выплеснув полное ведро ей на спину. С секунду ее сильные бока благодарно вздрагивали и вскоре начали дымиться паром; человек, отступив на тротуар, оглядывал лошадь острым, внимательным взглядом, а мальчик гладил ей морду и все время шептал что-то на ухо.

Потом вы вспоминаете, как оживало этой весной дерево, склонившееся над вашим узким, тесным переулком, как расцветало оно день ото дня волшебной молодой зеленью. И вы вспоминаете угрюмую, ржавую улицу, что тянется вдоль воды, ее обнаженную жестокою жизнью, скопление хибар, лачуг, жалких притонов, огромные закопченные пирсы, их невыразимое уродство и красоту и вспоминаете, как шли однажды на закате по этой улице и как вспыхивала, дрожала, переливалась всеми цветами солнца и гавани неверная паутина света на белом борту корабля.

И вы начинаете рассказывать хозяину о том, что это был за вечер,— о запахе громадного покинутого пирса, о закате, тлеющем в старой, ржавой кирпичной теснине домов, о радужной паутине света на мощном носу корабля, но, едва начав, вы уже сознаете свое бессилие, знаете, что вам не вернуть того ощущения тайны, восторга и дикой тоски, которое вы тогда испытывали.

Да, красоты там хватало — хватало, чтобы разбить сердце, оглушить мозг, выжать из вас все соки,— но что можно объяснить словами? Вы вспоминаете все эти вещи и еще десять тысяч других, но когда начинаете о них рассказывать, у вас ничего не выходит.

Вместо этого вы просто описываете дом, в котором живете, как темно и жарко там летом, как сыро и холодно

но зимой, как трудно достать себе хорошую еду. Вы рассказываете ему о своей хозяйке, которая раньше была репортером и чего только не навиделась на своем веку. Вы рассказываете, какая это добрая и великодушная женщина, грубоватая и деятельная, всегда полная энергии и жизни, как она любит выпить и компанию пьющих людей, как знает она ту суровую и грубую изнанку жизни, которую приходится узнать газетному репортеру.

Вы рассказываете, как она провожала на казнь убийц, чтобы добыть у них или у их матерей материал для газеты, как она взбиралась на корабли, чтобы добыть этот материал, шла за похоронными процессиями, стояла у могил, оскорбляла самые высокие, чистые и горестные чувства людей, чтобы добыть этот материал, и как, несмотря на все, смогла остаться честной женщиной, доброй, щедрой, жадной до жизни, хотя старой девой и пуританкой до самого мозга костей.

Вы рассказываете, что несколько лет назад она сошла с ума и провела два года в сумасшедшем доме, рассказываете, что временами к ней возвращается безумие и что несколько месяцев назад, вернувшись вечером домой, вы нашли ее на своей кровати, а она встала и приветствовала вас как своего единственного возлюбленного — доктора Юстаса Макнами, имя, личность и любовь которого она выдумала. Потом вы рассказываете о ее фантастической семье — о трех ее сестрах и отце, тронутых тем же безумием, но лишенных ее энергии, силы и таланта, и о том, что с восемнадцати лет она кормит всю эту ораву.

Вы рассказываете об ее отце — изобретателе, который изобретает замыкающиеся замки, штопоры для незатыкающихся затычек и небьющиеся зеркала, в которых ничего не видно. Рассказываете, как год назад, получив в наследство сто двадцать тысяч долларов — первые в своей жизни деньги, — старик отнес их прямо на Уолл-стрит, а пока ему там помогали от них избавиться, он отправил жену и детей в Европу на роскошном лайнере и телеграфировал им, когда они хотели вернуться: «Спешите в Рим, дети мои! Спешите

в Рим! Ваш отец зарабатывает миллионы!»

Да, все это и сотню других невероятных историй мог бы я рассказать о людях, которые живут вокруг меня,— об армянах, испанцах, ирландцах, о том, как в будни, возвращаясь домой, все они включают приемники, раздирая переулок осатанелым ревом; как, вернувшись домой в воскресенье, они напиваются и избивают жен — и весь ход их жизни, самые интимные подробности выворачиваются наизнанку у открытых окон под аккомпанемент смеха, криков, воплей и проклятий.

Я мог бы рассказать ему, как они дерутся, пьянствуют и воруют, как они разбойничают, грабят и режут, как продаются, убивают и крадут,— и как при всем этом они будут негодовать, жаловаться в полицию, изображая оскорбленную добродетель, и посылать к нам делегатов только из-за того, что молодой племянник хозяйки загорал на заднем дворе в одних плавках.

— У вас на дворе голые люди,— будут говорить они шепотом, полным ужаса и возмущения.

Да, все мы — и старый Уиттекер, изобретатель, и Ненормальная Мод, его старшая дочь, которая может ворчать из-за разбитого блюда, а потом насильно запикивать вам в глотку сытный завтрак, которая может все лето, с апреля до августа, терпеливо поливать клочок чахлой травы на заднем дворе только затем, чтобы в один прекрасный день выпустить туда ораву полуголых чумазных мальчишек, которые в двадцать минут все вытопчут и превратят двор в грязное месиво, пока она будет поливать водой из шланга их тощие тела,— да, все мы — этот старик, его дочери и его внук, три банковских служащих, карикатурист, два молодых газетчика, которые работают у Херста, и я сам,— мы, которые изредка приводим к себе девочек, напиваемся, плачем и исповедуем друг другу свои грешные и недостойные жизни, читаем Шекспира, Мильтона, Уитмена, Донна, Библию и спортивную хронику,— мы, молодые, старые и какие бы мы там ни были глупые, безумные или растерянные, но все же ни разу не убивавшие, не грабившие, не вы-

шибавшие у женщины зубов, мы, более или менее порядочные, терпимые и незлобивые люди,— мы все — изгой Балконной площади, названной так потому, что там нет ни площади, ни балконов, а только короткий узкий переулок.

Да, мы — чужаки, враги общественного порядка и морали, растленные нечестивцы, и соседи глядят на нас с недоверием и осуждением, а сами исправно лупят жен, доблестно режут друг другу глотки, занимаются своим честным ремеслом громил и убийц, как и подобает достойным, уважающим себя гражданам.

Однажды человек был убит за три дома от меня и валялся с разможенной головой на ступеньках; а однажды в два часа ночи из машины вылезла пьяная баба, проклиная на чем свет стоит своего кавалера.

— Заплати мне! Заплати, долговязый! — орала она.— Плати лучше! Плати три доллара, не то мужу скажу, он их выбьет из тебя!

— Веди себя прилично, как дама! — отвечал мужчина негромко.— Ничего не получишь, пока не будешь вести себя, как дама! Веди себя, как дама! — настаивал он с трогательной приверженностью к хорошему тону.

И так продолжалось до тех пор, пока он не завел мотор и не умчался со страшной скоростью прочь, оставив ее слоняться по переулку, вопить, причитать, грязно ругаться и призывать мщение мужа на голову поклонника, который так бесчестно с ней обошелся. А потом три юных и тщеславных вора решили воспользоваться случаем и ограбить ее: среди ночи они пробежали мимо моего окна, и один, боязливый и нерешительный, причитал:

— Меня мутит! Меня тошнит! Ребята, обождите малость! Идите сами, сами управитесь! Я лучше кофе выпью!

И другие рычали в ответ:

— Ты куда? Ты что, сука, струсил? Иди давай, а не то припорю сейчас! — Их ноги бодро протопали в темноте, и пьяные истошные вопли женщины, доносившиеся с того конца переулка, вскоре смолкли.

Ваш хозяин просто упоен этой зверской хроникой. В вос-

торге он хлопает себя по лбу и восклицает:

— О, роскошно! Роскошно! До чего же вам повезло. Будь я на вашем месте, я чувствовал бы себя счастливейшим человеком на свете.

Вы окидываете взглядом его комнату и не говорите ничего.

— Быть свободным! Жить, где хочешь, и видеть все это! Жить среди настоящих людей! Видеть настоящую жизнь, ничем не прикрашенную, не то что здесь... — говорит он, бросая утомленный взор на роскошную обстановку — на призрачный мир, в котором он должен влачить свои дни. — И главное — быть одному!

Вы спрашиваете, был ли он когда-нибудь один, известно ли ему, что такое одиночество. Вы пытаетесь ему объяснить, но, оказывается, он и сам все знает. Он невесело улыбается и выслушивает ваши наивные объяснения с усталой снисходительностью человека, умудренного жизнью.

— Я знаю! Знаю! — вздыхает он. — Но мы все одиноки, друг мой. Ведь истинное одиночество — оно вот тут, — и он постукивает себя чуть левее третьей пуговицы на рубашке, там, где, видимо, у него помещается сердце. — А вы! Молоды, свободны и весь мир перед вами! Прекрасная жизнь! Бог мой, чего же еще желать человеку?

Ну что тут скажешь? В висках у вас стучит кровь, сердитый, горький ответ готов уже сорваться с ваших губ, и, кажется, вы много могли бы ему сказать. Вы бы могли сказать ему, без риска показаться слишком учтивым, что на свете до чертовой матери всего, что может желать человек: хорошей еды и добрых приятелей, покоя, обеспеченности и красивых женщин, вроде той, что сидит с ним рядом, но что тут скажешь?

Потому что вы — это вы, вы знаете то, что знаете, и нет у вас слов, чтобы передать свое одиночество, горькое, черное, ноющее одиночество, гложущее по ночам корни безмолвия.

Что сказать? Да, там хватало жизни — хватало силы, величия, радости, красоты, но, видит бог, хватало и грязи, и нищеты, и убожества, хватало жестокости, ненависти,

зверства и хватало одиночества, чтобы насытить вас серым крошечком ужаса, обметать ваши губы лихорадкой отчаяния.

И времени тоже хватало — даже там, в Бруклине, хватает его, непонятного, темного времени, темного тысячеликого времени, вечно текущего мимо вас, как река, — даже в слепых подвалах Бруклина хватает времени, но когда вы пытаетесь рассказать об этом, у вас ничего не выходит. Что тут скажешь?

Вы вспоминаете вдруг, как скорбный вечерний свет падает на исполинскую ржавую чашобу, что зовется Бруклином, и на лица людей с мертвыми глазами, на восковые, серые лица, и как даже в Бруклине прислоняются к вечерним подоконникам окутанные приглушенным, печальным светом люди. Вы вспоминаете, как лежали раз у себя в подвале в Бруклине, вслушиваясь в звуки вечера, в замирающую песню птицы на соседнем дереве, и вспоминаете, как распахнулись где-то два окна и два голоса — мужской и женский — зазвучали в тихих скорбных сумерках. И этот разговор опять возникает у вас в памяти, как неотвязный припев какой-то старой песни, слышанной и затерявшейся в Бруклине.

— Тебя вроде не было, — начинает один.

— Ага. Меня не было. Я только что приехала, — говорит другой голос.

— Ну? Я так и подумал, — говорит первый. — Я так и подумал, что ты уехала.

— Ага. Я была в отпуске. Я только что приехала.

— Да ну? Так я и подумал. Я вчера как раз подумал, что тебя вроде давно не видно. Похоже, думаю, что уехала.

И потом — молчание, слышны только замирающая песня птицы, голоса с улицы, отдаленные звуки и выкрики, чьи-то короткие оклики и далекое, громадное, глухое бормотание в вечернем воздухе.

— Ну, чего нового с тех пор, как я уехала? — снова раздается в тихих скорбных сумерках голос. — Случилось чего-нибудь, пока меня не было?

— Нет! Ничего не случилось,— отвечает другой.— Все то же самое, знаешь? — произносит он напряженно, словно устав бороться с бессилием языка.

— Да. Знаю,— отрешенно отзывается другой, и снова тишина над Бруклином.

— Отец Гроган помер, пока тебя не было,— опять начинается голос.

— Да ну? — спокойно удивляется другой.

— Ага.

И наступает молчание.

— Жалко его, а? — произносит тихий голос.

— Ага. В субботу он помер. В пятницу, когда домой пришел, с ним ничего еще не было.

— Да ну?

— Ага.

И на мгновение голоса замирают, гложут в густой тишине.

— Нехорошо-то как, а?

— Ага. Его нашли только на другое утро, в десять часов. Когда они вошли к нему, он лежал на полу в ванной.

— Ну?

— Ага. Они его нашли в ванной.

— Да-а-а. Нехорошо-то как... Видно, меня не было, когда он помер.

— Ага. Видно, тебя не было.

— Да. Похоже, что так. Похоже, что не было. А то бы я знала. Не было меня.

— Ну ладно, пока. До свидания.

— Ну ладно, пока.

Окно закрыто, и снова тишина кругом — вечер, далекий шум и отрывистые крики в Бруклине, Бруклин — бесформенный, ржавый, нескончаемый хаос.

И теперь красный свет быстро меркнет на старом кирпиче ржавых домов, и в воздухе слышны голоса, какая-то музыка, а мы лежим, слепые атомы, в наших холодных подвалах, серые, безгласные атомы среди людной земной пустыни, и память о нас стерлась, имена наши забыты, и силы

уходят из нас, как руда из земли, пока мы лежим там вечером... а река течет... и темное время, как стервятник, рвет наши внутренности, и мы знаем, что пропали, но не можем пошевелиться... а там корабли плывут... корабли там!.. Господи Иисусе! мы все умираем в темноте... и тебя вроде не было... тебя вроде не было...

И это — одно из мгновений темного времени, один из тысячи его темных ликов.

Только мертвые знают Бруклин

Нет такого человека, кто знал бы Бруклин по-настоящему,— целой жизни не хватит, чтобы разобраться в этом треклятом городе.

Так вот, я и говорю: дожидаюсь я в подземке поезда и вдруг вижу рядом этого верзилу, раньше я его не встречал. Весь он взъерошенный, сразу видно, что насосался, но держится ничего, говорит складно и не качается. И вот подходит он к какому-то мозгляку, который тут же околачивается, и спрашивает:

— Как мне попасть на угол Восемнадцатой авеню и Шестьдесят седьмой улицы?

— Ну, брат, загадал загадку,— говорит мозгляк,— я сам здесь человек новый. А в каком это районе? Флетбуш?

— Нет,— говорит верзила,— это в Бенсонхерсте. Только я там ни разу не был. Как туда попасть?

— Да, загадал, брат, загадку,— говорит мозгляк с растерянным видом и почесывает в затылке.— Я о таком месте и не слышал. Может, кто из вас, ребята, знает, где это? — А сам смотрит на меня.

— Конечно, знаю,— говорю я.— Это в Бенсонхерсте. Садись на экспресс, который идет вдоль Четвертой авеню, сойдешь у Пятьдесят девятой улицы, там пересадка на местный, приморский, сойдешь на углу Восемнадцатой авеню и Шестьдесят третьей улицы, а оттуда пройти четыре квартала — и все.

— Ну и врешь,— ввязался какой-то умник, тоже мне незнакомый.— Сам не знаешь, что говоришь.

Вон какой умник сыскался!

А потом обращается он к тому верзиле.

— Ты,— говорит,— его не слушай, я тебе все объясню. У Тридцать третьей,— говорит,— пересядешь на Вест-эндскую линию. Сойдешь на углу Нью-утрехтской улицы и Шестнадцатой авеню. Оттуда пешком два квартала вперед и четыре в сторону, и как раз туда и попадешь.

Видали, какой умник сыскался!

— Разве? — говорю я ему.— Ты-то откуда знаешь? — Очень меня разозлило, что он таким умником себя выставляет.— Ты,— говорю,— давно ли тут живешь?

— Всю жизнь,— говорит.— Я,— говорит,— родился в Уильямсбурге. Я тебе про этот город такого могу порассказать, о чем ты в жизни не слышал.

— Разве? — говорю.

— Вот тебе и разве.

— Ну,— говорю,— значит, ты такого можешь порассказать, о чем не только я, а и никто не слышал. Небось сам все и выдумываешь из головы по вечерам, перед тем как спать ложиться, вон как другие кукол из бумаги вырезают.

— Разве? — говорит.— А ты, наверно, очень умный?

— Да не знаю,— говорю.— За статую Линкольна меня птички пока не принимают. Но на то, чтобы вруна распознать, у меня ума хватит.

— Разве? — говорит.— Ты, значит, умный? Смотри, как бы тебе кто-нибудь вскорости не дал по морде. Будешь тогда знать, как умничать.

Ну, тут показался мой поезд, а то бы я ему залепил как следует за такие слова. Но как я увидел, что поезд подходит, я ему только одно сказал:

— Ладно, обрзина ты этакая. Жаль, некогда мне познакомиться с тобой. Ну, да не все пропало, я еще тебя, бог даст, увижу, когда тебя на кладбище поволокут.

А потом повернулся к тому верзиле — он так и стоял все время рядом — и говорю.

— Поехали,— говорю,— со мной.

Сели мы в поезд, я его и спрашиваю:

— А в Бенсонхерсте тебе куда нужно? Кого ты там

разыскиваешь? — Я, понимаешь, так рассудил, что если он мне скажет адрес, я, может, сумею помочь ему.

— А я,— говорит,— никого не разыскиваю. Я там никого и не знаю.

— Так зачем же ты туда едешь?

— Просто,— говорит,— хочу посмотреть, как там и что. Мне название понравилось: Бенсонхерст. Вот я и решил, что съезжу и погляжу на него.

— Ты что болтаешь? — говорю.— Ты что, дурачить меня вздумал? — Я, понимаешь, решил, что он со мной шутки шутит.

— Да нет,— отвечает,— я тебе правду говорю. Я люблю смотреть всякие места, у которых названия красивые. Я,— говорит,— люблю всякие новые места смотреть.

— А как ты узнал, что есть такое место, раз ты там никогда не бывал?

— А у меня,— говорит,— есть план.

— План?!

— Ну да. У меня есть план, и на нем все названия написаны. Я его обязательно с собой беру, когда сюда приезжаю.

И надо же! Лезет в карман, и, вот честное мое слово, оказывается — не врал, у него и вправду есть план, да большущий, весь город на нем обозначен, и все районы — Канарси, Восточный Нью-Йорк, Флетбуш, и Бенсонхерст, и Южный Бруклин, и Высоты, и Бэй-Ридж, и Гринпойнт — ну, весь как есть треклятый город у него на этом плане.

— И ты уже где-нибудь тут бывал? — спрашиваю.

— А как же,— говорит,— почти везде бывал. Вот вчера вечером посмотрел Красный Мыс.

— О господи! — говорю.— Красный Мыс! Что ты там делал?

— А ничего особенного. Ходил, глядел. Раза два зашел пропустить стаканчик, а больше просто так ходил.

— Просто так ходил?

— Ну да, смотрел, что там и как.

— Куда же ты ходил?



Томас Вулф в Бруклине

— Да я точно не знаю, как это называется, но на плане найти могу. Сперва шел каким-то полем, там ни одного дома не было, но вдали увидел — стоят освещенные пароходы, под погрузкой. Я и пошел через это поле к пароходам.

— Правильно,— говорю.— Я знаю, где ты был. Ты был у затона Эри.

— Ага,— говорит,— наверно. Там у них большие краны работали, погрузку производили. А еще в сухих доках стояли суда, тоже освещенные, я и пошел к ним через поле.

— А потом что делал?

— Да ничего особенного. Поглядел — и назад, опять через поле, а потом раза два заходил пропустить стаканчик.

— И ничего там при тебе не случилось? — спрашиваю.

— Да нет,— говорит.— Ничего особенного. В одном месте, куда я заходил, пьяные затеяли драку, но их тут же выставили, а один хотел вернуться, так бармен достал из-под стойки битую для бейсбола, он и ушел.

— О господи! — говорю.— Красный Мыс!

— Ну да,— говорит.— Вот там я и был.

— Так больше туда не ходи,— говорю.— Держись оттуда подальше.

— Почему? Чем не хорошее место?

— Место хорошее, когда от него подальше держишься. Такое хорошее, что от него чем дальше, тем лучше.

— Почему? Что там плохого?

О господи! Ну разве такому болвану втолкуешь? Ему говори не говори, один черт, все равно не поймет, я и сказал:

— Да нет, ничего. Просто ты мог там заблудиться.

— Заблудиться? — говорит.— Нет, я никогда не заблужусь. У меня же есть план.

План! Это на Красном-то Мысу! О господи!

Потом стал он мне задавать всякие дурацкие вопросы: какую площадь занимает Бруклин, да хорошо ли я в нем разбираюсь, да сколько нужно времени, чтобы его узнать.

— Послушай! — говорю я ему.— Брось ты об этом думать. Бруклин ты все равно никогда не будешь знать,

хоть сто лет его изучай. Я,— говорю,— прожил здесь всю жизнь, так и то про него не все знаю, а ты туда же, хочешь узнать город, а даже не живешь в нем.

— Это верно,— говорит,— но у меня есть план, с ним легче разбираться.

— Никакой план,— говорю,— тебе не поможет узнать Бруклин. И не надейся.

И вдруг он меня спрашивает:

— Ты плавать умеешь?

Ну уж тут, понимаешь, мне стало ясно, что парень-то того, не в своем уме. Оно, конечно, заложил он здорово, но дело не в том — мне, главное, не понравилось, что глаза у него какие-то сумасшедшие.

— Ты плавать,— говорит,— умеешь?

— Конечно,— говорю.— А ты?

— Нет. Разве что самую малость. А как следует не научился.

— Да это нетрудно,— говорю.— Только бояться не надо. Я, знаешь, как научился? Меня старший брат столкнул с мола в воду, прямо в одежде, мне тогда восемь лет было. «Поплывешь,— говорит,— обязательно поплывешь, коли не утонешь». И что ж ты думаешь — поплыл! Когда очень нужно, все получается. Главное — бояться не надо. А уж раз выучился,— говорю,— никогда не разучишься. Это уж на всю жизнь остается.

— И хорошо ты плаваешь?

— Как рыба. В воде я просто рыба. Мы с ребятами прямо с мола купались.

— Что бы ты сделал, если б увидел, что человек тонет? — спрашивает меня этот верзила.

— Что сделал бы? Бросился в воду да вытащил,— говорю,— вот бы что я сделал.

— Ты когда-нибудь видел, как тонут?

— Конечно,— говорю.— Два раза. На Кони-Айленде. Зашли далеко в море, а плавать не умеют. До них и добраться не успели, так оба и утонули.

— А что бывает с человеком, если он здесь утонет?

— Где здесь?

— Здесь, в Бруклине.

— Не пойму я, что ты говоришь. В жизни не слышал, чтобы кто-нибудь утонул в Бруклине, разве что в бассейне. В Бруклине нельзя утонуть. Тонуть надо где-нибудь еще, в океане, где есть вода.

— В океане,— говорит он, а сам поглядывает на свой план.— В океане.

О господи! Я уже давно смекнул, что он псих, такие у него глаза сумасшедшие, когда посмотрит на тебя. Что он еще, думаю, выкинет? Ну, тут поезд остановился, я и слез, хоть и не доехал до своей остановки. Решил подождать следующего поезда.

— До свиданья,— говорю,— приятель. Не унывай.

— В океане,— говорит он, а сам все смотрит на свой план.— В океане...

О господи! Сколько раз я с тех пор этого парня вспоминал, все думал — что с ним случилось в Бенсонхерсте. Надо же — едет туда, потому что название понравилось! Совсем один ночью бродит по Красному Мысу и глядит на свой план! Сколько раз я видел, как люди тонут здесь, в Бруклине? Много ли надо времени, чтобы изучить Бруклин, если у человека есть хороший план?

Вот болван-то! А сколько раз я раздумывал, что с ним случилось. Может, кто-нибудь дал ему как следует по башке, а может, он и сейчас еще разъезжает по ночам в подземке со своим планом! Бедняга! Как вспомнишь его, даже смешно делается. Может, он теперь понял, что все равно не узнать ему Бруклина. Надо потратить целую жизнь, чтобы узнать Бруклин по-настоящему. Да и тогда не будешь его знать.

Издали и вблизи

У выезда из городка, на взбегавшем вверх от железнодорожного полотна склоне стоял опрятный белый домик, дощатые стены которого украшали ярко-зеленые ставни. По одну сторону от домика были огород, аккуратно расчерченный участками спеющих овощей, и беседка, увитая виноградом, созревающим к концу августа; перед домом росли три могучих дуба, летом укрывавшие его в своей сплошной прохладной тени; по другую сторону тянулась кайма пестрых цветов. На всем лежала печать опрятности, бережливости и скромного достатка.

Ежедневно в начале третьего к домику приближался скорый поезд, направлявшийся из одного большого города в другой. К этому времени, после короткой передышки на станции, поезд начинал плавно набирать ход, еще не развив своей обычной страшной скорости. Неспешно выйдя из-за поворота, он проплывал мимо, качнув мощное тело паровоза, и скрывался в низине, негромко и спокойно постукивая по отполированной стали колесами тяжелых вагонов. Сначала его путь можно было проследить по тяжелым клубам дыма; сопровождаемые низким ревом, они всплывали через равные промежутки времени над зубчатой стеной мятлика; затем еще некоторое время доносился уверенный перестук колес, а потом и он тонул в дремотной тишине летнего дня.

Каждый день вот уже двадцать с лишним лет, приближаясь к домику, машинист давал гудок, и всякий раз, услышав его, на крыльцо выходила женщина и махала рукой. Раньше за ее юбки цеплялась маленькая девочка; потом девочка выросла и стала взрослой женщиной; теперь они вдвоем выходили на крылечко и махали ему рукой.

Машинист состарился и поседел на службе. Десять тысяч

раз провел он по этой земле свой большой, груженный сотнями жизней поезд. Его собственные дети выросли и обзавелись семьями; четыре раза за эти годы возникала перед ним на рельсах черная тень трагедии; она стремительно сгущалась и пушечным ядром летела на него, чудовищным кошмаром обрушиваясь под колеса: рессорная дрезина с тесным рядком ошеломленно глядящих на поезд детей; заглохший на рельсах дешевый автомобиль с одеревеневшими от ужаса людьми; бредущий по краю полотна старый и глухой оборванец, не слышащий отчаянных гудков паровоза; какая-то тень, с визгом промелькнувшая мимо окна его кабины,— все это машинист видел, все это он знал. Он познал все горе, всю радость, все опасности и все труды, сопряженные с его профессией; годы честной службы избороздили морщинами его обветренное лицо; верность, мужество и скромность, которых требовала от него работа, стали его постоянными спутниками, и, состарившись, он, как и подобает таким людям, обрел величие души и мудрость.

Какое бы горе и опасности он ни переживал, в его сознании белый домик и женщина, машущая ему с порога смело и свободно, оставались символами прекрасного и непреходящего, не подвластного времени и разрушению; он верил, что они всегда будут такими, какая бы беда, неудача или промах не нарушили строгого течения его жизни.

Вид домика и двух женщин на его пороге вызывали в нем ощущение необыкновенного, ни с чем не сравнимого счастья. Он видел их в разную погоду, в разном освещении. Он видел их в нагом и скудном свете серого зимнего дня за полосой побуревшей, покрытой инеем стерни; видел их и в зеленоватом, волшебном-манящем свете апреля.

И к ним, и к домику, в котором они жили, он питал такую нежность, какую человек испытывает разве что к своим собственным детям; со временем их образы так врезались в его сердце, что ему стало казаться, будто он знает их жизнь досконально, по часам и минутам; он решил, что

когда-нибудь, когда окончатся годы его службы, он отправится в городок, разыщет их домик и поговорит наконец с теми, чья жизнь переплелась с его собственной.

День этот наступил. Он сошел с поезда на станции городка, где они жили. Годы его службы окончились; компания, на которую он работал, назначила ему пенсию, и делать ему было нечего. Он медленно прошел через вокзал и вышел на улицу. Все вокруг было таким чужим, что ему стало казаться, будто он никогда не видел городка раньше. Он брел по улицам, и в нем рождалось недоумение и замешательство. Неужто это тот самый городок, через который он проезжал десятки тысяч раз? Неужели это те самые дома, которые он столько раз видел из высокого окна своей кабины? Все было незнакомо и тревожно, как бывает, когда во сне видишь, что идешь по чужому городу, и в душе его нарастало смятение.

Вскоре дома поредели, превращаясь в одинокие аванпосты города, а улица перешла в проселочную дорогу, ту самую, у обочины которой жили знакомые ему женщины. Машинист медленно брел по нагретой солнцем пыли. Наконец он остановился перед домом, который искал. Он сразу понял, что это то самое место: великолепные дубы у дома, цветочные клумбы, огород, виноградная беседка и поблескивающие в отдалении рельсы железной дороги.

Да, это был тот дом, который он искал, то самое место, мимо которого столько раз проезжал; это была цель, к которой он стремился с таким предвкушением счастья. Почему же теперь, когда он достиг заветной цели, рука его так нерешительно потянулась к калитке? Почему городок, дорога, сама земля и все, что он видел на подступах к дому, который так любил, стали чужими, словно отвратительный сон? Почему его охватили замешательство, сомнение и чувство безнадежности?

Наконец он толкнул калитку, медленно прошел по дорожке, поднялся по трем низким ступенькам на крыльцо и постучал в дверь. В прихожей послышались шаги, дверь отворилась, и на порог вышла женщина.

И сразу же он ощутил чувство горькой утраты и опустошения и пожалел о том, что пришел. Он не сомневался, что подозрительно глядящая на него женщина — та самая, что тысячи раз махала ему рукой. У нее было худое, черствое лицо с поджатыми губами и заострившимся носом; желтоватая усталая кожа повисла дряблыми складками; в маленьких глазах светилось робкое недоверие и тревожное беспокойство. Как только он увидел ее и услышал ее недружелюбный голос, образ женщины, в поднятой руке которой ему виделись смелость, свобода, тепло и нежность, мгновенно померк.

Он пытался объяснить ей свое появление, рассказать, кто он и почему пришел, однако его собственный голос казался ему неестественным и мертвым. Но он продолжал говорить, запинаясь, упрямо борясь с тяжелым чувством сожаления, смятения и неверия, которые теснили ему грудь, гася былую радость и превращая его порыв нежности и надежды в нечто постыдное и жалкое.

В конце концов женщина с явной неохотой пригласила его в дом и резким, визгливым голосом позвала дочь. Потом, мучаясь, он некоторое время сидел в жалкой маленькой гостиной и пытался говорить, а женщины с тупой, недоумевающей враждебностью смотрели на него, и в их угрюмой скованности сквозил испуг.

Наконец, невнятно пробормотав скупые слова прощания, он поднялся. Шагая по тропинке, а затем по дороге к городу, он внезапно понял, что он старик. Его сердце, бывало бившееся мужественно и уверенно, когда он глядел на бегущую вперед, тающую в знакомых далях полосу рельсов, теперь вдруг ослабло от сомнений и страха при виде этой незнакомой и странной земли, до которой ему, казалось, всегда было рукой подать, но которую он так и не разглядел и не понял. И он почувствовал, что волшебство того, оставленного им, сияющего пути, далее, где скрывалась сверкающая нить рельсов, мерещившегося ему уголка уютной и доброй вселенной, рожденной его мечтой и надеждой, утрачено им безвозвратно и навсегда.

Цирк на рассвете

А иногда ранней осенью, в сентябре, в город приезжали знаменитые цирковые труппы — братья Ринглинги, Робинсоны, Барнум и Бейли; я был тогда разносчиком газет, и в те утра, когда цирк приезжал в город, я как сумасшедший обегал все дома по своему маршруту в той пронизывающей холодом мгле, какая бывает перед самым рассветом. А потом мчался домой и вытаскивал из постели брата.

Переговариваясь тихими взволнованными голосами, мы быстро шли обратно в город под шорох сентябрьских листьев, а прохладные улицы серели в том безмолвном, таинственном, магическом первом свете дня, который внезапно словно вновь открывает землю, и земля возникает из мрака в пугающей, величественной, скульптурной неподвижности, и человек смотрит на нее с восторгом и изумлением, как, наверно, смотрели на нее первые люди на земле, потому что это — одно из тех зрелищ, которые остаются с тобой навсегда, о которых думаешь умирая.

На скульптурно неподвижной площади, где на одном углу начинала вырисовываться из мрака призрачно чужая и хорошо знакомая маленькая, обшарпанная мастерская отца, мы с братом садились на самый первый трамвай, который шел к железнодорожной станции, где разгружался цирк. А иногда нас подвозил туда кто-нибудь из знакомых, направлявшихся в город.

Подъехав к грязному, закопченному, ветхому зданию станции, мы выходили из трамвая или машины и быстро шли по путям; здесь мы уже видели огненные вспышки и клубы пара, вылетающие из паровозов, и слышали лязг и стук

перегоняемых товарных вагонов, внезапный грохот маневрирующих паровозов, звон станционного колокола и звуки огромных поездов, проносящихся мимо.

И ко всем этим знакомым звукам, исполненным радостных пророчеств дороги, путешествия, утра и сияющих городов, ко всем резким и волнующим запахам поездов — запахам золы, едкого дыма, затхлых и ржавых товарных вагонов, чистых сосновых досок, из которых сколочены ящики, и запахам свежих продуктов на складах — апельсинов, кофе, мандаринов, грудинки, окороков, муки, говяжьих туш — теперь примешивались незабываемые, таинственные и знакомые, все странные звуки и запахи прибывающего цирка.

Великолепные ярко-желтые вагоны, в которых жили и спали главные исполнители, все еще темные, могуче неподвижные, стояли на путях длинной цепочкой. А вокруг них звуки разгружаемого цирка уже яростно кипели в темноте. Отступающую мглу сиреневой, уходящей ночи пронизывали свирепый рев львов, внезапное злобное рычание огромных тропических кошек, трубный рев слонов, топот лошадей и душные, крепкие, незнакомые запахи обитателей джунглей — рыжевато-коричневые верблюжьи запахи, запахи пантер, зебр, тигров, слонов и медведей.

А у путей, вдоль цирковых вагонов, — резкие окрики и ругань служителей цирка, таинственный танец фонарей, покачивающихся в темноте, а потом вокруг — сильный грохот груженых фургонов: их скатывали с товарных платформ и гондол по настилу на землю. И в эти таинственные минуты уходящей темноты и нарастающего света во всем ощущалось борение суеты, спешки и мерного, упорядоченного движения.

Крупные серо-стальные лошади по четыре и шесть в упряжке под грубые окрики погонщиков неторопливо шагали по густой белой пыли дороги, гремя цепями, волоча за собой постромки. Погонщики гнали их к речке, которая текла за путями, поили их там, и в первых лучах рассвета можно было увидеть в знакомой реке купающихся слонов и больших лошадей, медленно и осторожно входящих в воду.

А на площадке, отведенной для цирка, невероятно быстро, как по волшебству, вырастали шатры. И на всей ее территории (это была единственная площадка в городе, ровная и достаточно большая для цирка; к тому же недалеко от станции) царила атмосфера дикой, неистовой спешки и в то же время мерной работы. Яркий свет газовых фонарей освещал увядшие, помятые лица цирковых силачей, которые ритмично и точно — одушевленные клепальные молотки — колотили кувалдами по столбам и вгоняли их в землю с невероятной, непостижимой быстротой и ловкостью. А когда рассветало и всходило солнце, вся площадка становилась ареной волшебства, порядка и неистовства. Погонщики ругались и говорили что-то друг другу на своем особом языке, громко пыхтел и неровно стучал бензиновый движок, кричали и ругались распорядители, гудели от кувалд вбиваемые в землю столбы, гремели тяжелые цепи.

Но вот на огромной расчищенной площадке, на утопанной пыльной земле уже вбиты столбы для главного шатра, где будет проходить представление. И тогда на площадку, тяжело передвигая ноги, вступал слон, он медленно опускал свою огромную раскачивающуюся голову по приказу человека, который сидел у него на голове, взмахивал раз или два серым морщинистым хоботом и неторопливо обвивал им один из лежащих на земле столбов, длинных, как мачты быстроходных шхун. Потом слон медленно отходил назад и легко, будто спичку из коробка, вытаскивал огромный столб.

Увидев это, мой брат заливался громким безудержным смехом и тыкал мне в грудь своими неловкими пальцами. А два маленьких чернокожих из города, которые вытаращив глаза наблюдали за представлением, устроенным слонем, поворачивали друг к другу свои обезьяньи физиономии, приседали, разом хлопали себя по коленям и раздражались темным, глубоким смехом, а потом начинали свою игру в вопросы и ответы:

— Ведь он не балуется, нет?

— Нет, сэр! И ни за кем не посылает!

— Он не говорит: «Минуточку, подождите»?

— Нет, сэр! Он говорит: «А ну-ка, ну-ка!»

— А идет он — кач-кач! — говорил один и, подражая слону, опускал свое черное лицо вниз, к земле.

— Он его поддевает, — говорил другой и наклонял голову, словно поддевая головой что-то.

— Он говорит: «Ар-рам», — говорил один.

— Он говорит: «Готово, хозяин! Порядок!» — отвечал другой.

— Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! — Они вопили и задыхались от своего глубокого смеха и звонко хлопали себя по ляжкам, подражая движениям слона, восторгаясь его силой.

Тем временем уже ставили цирковую столовую — огромный брезентовый навес без стен, и мы могли тогда видеть, как под этой крышей за длинными столами на козлах завтракают артисты. А аромат их пищи, перемешанный с нашим сильным волнением, с резкими, но здоровыми запахами животных, с безотчетной радостью, свежестью, таинственностью, ликующим чародейством и великолепием утра и с приездом цирка, исходил, казалось, от самых дразнящих, самых аппетитных блюд на земле, которые нам когда-либо доводилось пробовать или о которых мы когда-либо слышали.

Мы могли видеть, как артисты цирка с наслаждением поглощают свой грандиозный завтрак, упиваясь своей силой и мощью: они съедали большие бифштексы, свиные отбивные, жареную грудинку, полдюжины яиц, огромные куски ветчины и огромные груды пшеничных оладий, которые повар с ловкостью жонглера подбрасывал в воздух, а рослая официантка быстро разносила по столам, высоко держа на пальцах мускулистой руки большие нагруженные подносы и уверенно балансируя ими. И над всеми этими будоражащими запахами здоровой и сочной пищи непременно повисал знойный восхитительный аромат, который словно придавал особый смысл и остроту этой волнующей жизни утра, — аромат крепкого кипящего кофе, посылавшего облака пара из блестящего кофейника невероятной величины, артисты

пили его большими глотками чашку за чашкой.

И сами цирковые артисты — мужчины и женщины, звезды представления, — выглядели превосходно, они были сильными и красивыми; а говорили и двигались они с почти суровым достоинством и благородством, и вся жизнь их казалась нам такой прекрасной и восхитительной, как ничья другая жизнь на земле. В их манерах никогда не было ничего развязного, грубого или вызывающего, и артистки цирка не были похожи на размалеванных уличных женщин, и с мужчинами они не вели себя неприлично.

Скорее казалось, что этим людям каким-то удивительным образом удалось создать общину, которая жила своей размеренной жизнью, хотя это и была жизнь на колесах, и с суровой непреклонностью, неизвестной в больших и маленьких городах, соблюдала благопристойность в семейных отношениях. Среди артистов были молодой сильный мужчина, поразительной красоты женщина со светлыми волосами, с фигурой амазонки, и атлетического сложения коренастый мужчина средних лет с морщинистым, суровым, надежным лицом и лысой головой. Возможно, они вместе работали на трапедии — молодой мужчина и женщина прыгали с высоты навстречу пожилому мужчине, он ловил их и с силой бросал обратно, на узкие перекладины, и они должны были поймать качели в воздухе, но прежде успеть еще трижды перевернуться, пренебрегая опасностью, демонстрируя всю красоту, ловкость и точность, на какие способен человек.

Но когда они приходили завтракать под брезентовую крышу, они спокойно и вежливо беседовали с другими артистами цирка, садились по-семейному за один из длинных столов и поглощали свой грандиозный завтрак серьезно и сосредоточенно, чаще всего молча, а если разговаривали, то спокойно, сдержанно, немногословно.

А мы с братом смотрели на них будто замороженные. Мой брат, оторвав наконец взгляд от мужчины с лысой головой, поворачивался ко мне и шептал:

— В-в-видишь вон того л-л-лысого? Это ловитор, — гово-

рил он со знанием дела.— Ну, т-т-тот самый, к-к-кто их ловит. Он должен оч-ч-чень хорошо уметь это делать. Знаешь, что случится, если он их не поймает, а? — спрашивал мой брат.

— Что? — замороженно спрашивал я.

Брат щелкал в воздухе пальцами.

— Каюк! — отвечал он.— Разобьются. Д-да, они даже не успеют сообразить, что случилось. Это уж точно! — добавлял он, энергично кивая.— Это ф-ф-факт! Если он хоть чуть-чуть промахнется, им каюк! Этот человек должен знать свое дело,— говорил мой брат.— И знаешь,— продолжал он, понизив голос, с глубокой убежденностью,— было бы с-с-совсем не удивительно, если бы ему платили с-с-семьдесят пять или сто долларов в неделю! Совсем не удивительно! — решительно заявлял мой брат.

И мы опять устремляли восхищенные взгляды на этих прекрасных, романтических людей, чья жизнь была так не похожа на нашу и которых, нам казалось, мы уже давно знаем и давно любим. А потом, когда уже совсем рассветало и всходило солнце, мы с неохотой покидали площадку цирка и отправлялись домой.

И почему-то воспоминание обо всем, что мы видели и слышали в то чудесное утро, воспоминание о столовой под брезентовой крышей с ее восхитительными запахами пробуждало в нас такой острый, свирепый голод, что мы уже не могли ждать, когда доберемся до дому, чтобы позавтракать там. Мы заходили в какую-нибудь закусочную в городе, забирались на высокие табуреты перед стойкой и с жадностью набрасывались на бутерброды с ветчиной и яйцами, на горячие рубленные бифштексы с красной, ароматной, пряной, сочащейся кровью сердцевинной, на кофе, на пенное молоко и сдобы, а потом уже шли домой, чтобы съесть все, что поставят перед нами на столе.

Бродяги на закате

Медленно, гуськом, неспешной поступью людей, которые только что наелись и которых не гонит вперед ни время, ни важные дела, бродяги вышли из лесу, спустились на несколько футов по глиняной насыпи к железнодорожному полотну и так же неспешно двинулись по шпалам к водонапорной башне. Время было — как раз заход солнца, солнца уже не было видно, но последние его лучи еще ложились вдали, без насилия и без зноя, на вершины деревьев в уже темнеющих лесах и на верхушку башни. Там свет задерживался ненадолго, со странным неземным спокойствием, как отлив изысканной старинной бронзы, он не был частью того прохладного, чудесного наступления темноты, что уже окутывала леса, он был как печаль и как отрада и угасал сразу, как призрак.

Из пяти мужчин, которые появились на опушке над дорогой и теперь нестройной цепочкой продвигались к водонапорной башне, старшему было на вид лет пятьдесят, но это была такая развалина, такое бесформенное скопление промокших лохмотьев, слежавшихся волос и кусков человеческой плоти, что возраст его не поддавался точному определению, он напоминал какой-то расплавленный предмет, который сильный дождь вколотил в землю. Младшему — деревенскому пареньку со свежим лицом и живыми, любопытными глазами — дай бог минуло шестнадцать. Из трех остальных один был молодой человек не старше тридцати лет, с лицом хорька и почти без верхних зубов. Шагал он осторожно, изнеженными ногами, явно непривычными к той работе, которую он теперь на них взвалил. Это был

триумф грязной элегантности — костюм в узкую полоску, весь в жирных пятнах и сильно лоснящийся пониже спины, воротник пиджака поднят, руки засунуты глубоко в карманы брюк,— так он шел, выставив вперед костлявые плечи, словно озяб, хотя день выдался жаркий. В уголке рта у него торчала мятая сигарета, а когда он говорил, губы у него едва шевелились, но весь рот как-то безобразно сдвигался вбок; весь его облик наводил на мысль о нечистой скрытности.

Из всех пяти только двое несли на себе печать подлинной бездомности. Один был маленький, с жестким испитым лицом, глаза жесткие и холодные, как агат, а тонкие губы сдвинуты наискосок и похожи на шрам.

У второго, как видно перевалившего за сорок, была мощная неуклюжая фигура и испитое лицо профессионального бродяги. В лице и в фигуре сквозило своеобразное грубое благородство. Лицо, все в следах от побоев и конопатое, словно высечено из одной гранитной плиты, и читалась на нем грандиозная эпопея его скитаний, поездок под вагонами под стук колес, кровавых драк, зверских избиений. И пустынности, диких, жестоких и тоскливых просторов Америки.

Этот человек, в котором почему-то сразу угадывался вождь всей группы, шел молча, равнодушно, выносливой, хоть и неуклюжей походкой, не глядя на других. Раз он остановился, сунул мощную длань в отвисший карман пиджака и извлек оттуда сигарету, которую и зажег одним-единственным движением, загородивши от ветра другой рукой. Тут лицо его расплылось в счастливую гримасу, он глубоко затянулся и, втянув дым в самую глубину своих могучих легких, медленно выпустил его через ноздри. То был широкий жест чувственной радости, сразу придавший акту курения и аромату табака всю их исконную терпкую прелесть. И было ясно, что он умеет придать это редкое качество самым простым отправлениям жизни — всему, чего ни коснется,— потому что внутри себя носил это замечательное свойство — умел ликовать и радоваться.

Мальчик все время держался позади этого человека, не

отрывая глаз от его широкой спины. Теперь, когда тот остановился, он догнал его и тоже остановился, по-прежнему глядя на него чуть растерянно, но с тем же выражением упрямого доверия.

Бродяга медленно и победоносно выпустил дым из ноздрей, двинулся дальше и сначала не сказал мальчику ничего. А вскоре заговорил грубо, небрежно, но не без какого-то медвежьего дружелюбия.

— Куда путь держишь, малыш? — сказал он. — В Большой город?

Мальчик молча кивнул, словно хотел заговорить, но раздумал.

— Раньше там бывал? — спросил старший.

— Не, — ответил мальчик.

— И под вагоном в первый раз ехал?

— Да.

— Чем же там плохо, на ферме? — усмехнулся бродяга. — Слишком много коров приходится доить, что ли?

Мальчик тоже усмехнулся, неуверенно, потом ответил: — Да.

— Так я и знал, — сказал бродяга с грубым смешком. — О господи! Я вас, свеженьких, из деревни, за милую узнаю, по походке. Ну что ж, — добавил он с грубоватым дружелюбием. — Раз наладился в Большой город, держись за меня. Я тоже туда направляюсь.

— Да, — скрипучим голосом вмешался маленький, со ртом как шрам, и засмеялся издевательски.

— Да, держись за Быка, малыш. С ним не пропадешь. Он тебе покажет ... свет, это я без шуток тебе говорю. Сводит тебя к Лимонадному озеру и в долину Черно-белого хлеба, ведь сводишь, Бык? Покажет, где растут ветчинные деревья и где индейки на кустах расцветают. Покажешь, Бык? — продолжал он, словно намекал на что-то скверное, однако же не переставая подлизываться. — Ты, малыш, держись за Быка и будешь в золоте купаться. Ах ты мразь несчастная, — сказал он, неожиданно переключаясь на злобное рычание. — Ты что, думаешь, такая мразь нам больно

нужна?.. Но в этом и беда. Все у нас было хорошо, пока эти пацаны не набежали, всю картину испортили. Какого черта нам с ним возжаться? — прорычал он злобно.— Какого черта меня приглашают... в няньки, так, что ли? Катись отсюда, мразь несчастная! — прорычал он еще раз и занес кулак, словно готовясь ударить мальчика.— Вон отсюда! Нечего тебе тут делать. Катись, говорят. К чертовой матери, не то как дам...

Человек, которого звали Бык, оглянулся и с минуту молча смотрел на него.

— Вот так-то, образина,— сказал он потом негромко.— Оставь ты этого малыша в покое. Малыш остается с нами. Понятно?

— Аррр,— прорычал тот угрюмо.— Это что у нас тут? Может, детская, черт бы ее взял?

— Вот так,— сказал бродяга.— Ты меня слышал?

— Аррр, к чертям,— пробормотал маленький, постепенно остывая.— Не буду я качать люльку для всякой мрази.

— Слышал ты, что я сказал, или нет? — повторил тот, которого звали Бык, тяжелым, угрожающим голосом.

— Слышал, да,— пробормотал маленький совсем тихо.

— Ну вот, от тебя я больше никаких пакостей слышать не желаю. Я сказал, что малыш останется со мной. Значит, он останется.

Маленький что-то пробормотал невнятно, но сказать ничего не сказал. Бык еще с минуту смотрел на него тяжелым, хмурым взглядом, потом отвернулся, пошел и сел на дрезину, подогнанную к стене склада на запасном пути.

— Поди сюда, малыш,— сказал он сердито и полез в карман в поисках сигареты. Мальчик подошел к дрезине.— Покурить есть? — спросил мужчина, все еще роясь в кармане. Мальчик достал пачку сигарет и протянул ее мужчине. Бык взял сигарету из пачки, зажег одним движением — между своим грубым испитым лицом и здоровенной лапой, потом тем же свободным и властным жестом опустил пачку себе в карман.— Спасибо,— сказал он, когда едкий дым роскошными кольцами пошел из ноздрей.— Садись, малыш.

Мальчик сел на дрезину с ним рядом. Пока Бык курил, двое из компании переглянулись с хитрыми улыбками, потом молодой в грязных брюках быстро сам себе покачал головой и, беззубо усмехнувшись тонкими проваленными губами, прошамкал насмешливо:

— О гошподи!

Бык не откликнулся, он сидел и курил, немножко наклонившись вперед, крепкий как скала.

Между тем почти совсем стемнело; еще теплились слабые остатки вечернего света, но в безоблачном небе уже стали вспыхивать и разгораться большие звезды. Где-то в лесу шумела вода. Вдали то ли слышалось, то ли угадывалось слабое дрожание рельсов. Мальчик сидел тихо, слушал и молчал.

Солнце и дождь

Когда он проснулся, его душило немое волнение. Зимний день был пасмурный, в воздухе чувствовался снег, и что-то должно было случиться. Это ощущение часто овладевало им в провинциальной Франции — странное смешанное ощущение тоски и бездомности, внутренней пустоты и недоумения — зачем он здесь оказался? — и одновременно прилив радости, надежды, предвкушения, причем он понятия не имел, на что надеется и что предвкушает.

После обеда он пошел на станцию и сел в поезд на Орлеан. Где Орлеан находится, он не знал. Поезд был смешанный — товарные вагоны, кресла, отдельные купе. Он взял билет третьего класса и вошел в купе, и тут прозвучал пронзительный свисток, и поезд выкатился из Шартра в деревню, без звонка или иных сигналов, как водится у маленьких французских поездов, и это, как всегда, наполнило его тревогой.

На поля была накинута легкая снежная маска, воздух был дымный — казалось, вся земля исходит дымом и паром, и из окна была видна мокрая земля и полосатые участки вспаханных полей, да изредка ферма: хозяйский дом и службы. На Америку вовсе не похоже: земля на вид жирная и ухоженная, даже дымные зимние леса выглядят ухоженными. Временами вдали вырастала полоска высоких тополей, это означало, что там есть река или озеро.

В купе сидели трое: старик крестьянин с женой и дочерью. У старика были растрепанные усы, обветренное морщинистое лицо и маленькие воспаленные глаза. Руки его казались тяжелыми и крепкими, как камень, он, стиснув, держал их на коленях. Лицо его жены было гладкое, коричневое,

сеть тонких морщинок окружала глаза, все лицо напоминало старинную бронзовую вазу. У дочери лицо было мрачное, хмурое, она сидела у окна, подальше от родителей, словно стыдясь их. Когда они с ней заговаривали, отвечала, не глядя на них, каким-то яростным голосом.

Крестьянин заговорил с ним приветливо, как только он вошел в купе. Он ответил улыбкой на его улыбку, хотя не понял ни слова, и старик, решив, что он все понял, продолжал говорить.

Старик извлек из кармана пачку крепчайшего дешевого табака, каким французское правительство снабжает своих бедняков за несколько центов, и приготовился набивать трубку. Молодой человек достал пачку американских сигарет и предложил ему:

— Закурите?

— А как же,— сказал старик.

Он неловко вытащил сигарету из пачки, подержал большими заскорузлыми пальцами, потом поднес ее к огоньку, который предложил ему молодой человек, и затянулся, с непривычки нескладно. Потом стал с любопытством разглядывать пачку, крутя ее в руках, чтобы прочесть название фирмы. Повернулся к жене, которая следила за каждым его движением в этой несложной процедуре внимательными блестящими глазами зверька, и затеял с ней быстрый, взволнованный разговор.

— Американские, так-то.

— Вкусные?

— А как же, первый сорт.

— Дай посмотреть. Как их зовут?

Оба уставились на надпись.

— Как вы это называете? — спросил крестьянин.

— «Лаки страйк»,— ответил молодой человек.

— Лаки? — На лицах сомнение.— А как это по-французски?

— Je ne sais pas*,— ответил он.

— Вы куда едете? — спросил крестьянин, и его воспали-

* Я не знаю (франц.)

ные глаза воззрились на юношу, прикованные ненасытным любопытством.

— В Орлеан.

— Как? — старик словно был озадачен.

— Орлеан.

— Не понимаю,— сказал старик.

— Орлеан! Орлеан! — яростно крикнула девушка.— Мсье говорит, что едет в Орлеан.

— А-а! — воскликнул старик, точно его внезапно озарило.— Орлеан.

Юноше казалось, что он произнес это слово точно так же, как старик, но он повторил: — Да, в Орлеан.

— Он едет в Орлеан,— сказал старик, поворачиваясь к жене.

— А-а! — вскричала она лукаво, словно тоже пережила озарение, после чего оба умолкли и уставились на юношу любопытными глазами.

— Вы сами-то из какого района? — вскоре спросил старик, сбитый с толку, не сводя с него воспаленных глаз.

— Как это, я не понимаю.

— Мсье не француз! — заорала дочь, выведенная из себя их бестолковостью.— Он иностранец, неужели непонятно?

— А-а! — вскричал крестьянин, словно перестав удивляться. Потом повернулся к жене и сказал, как отрезал: — Он не француз. Он иностранец.

— А-а!

И четыре маленьких круглых глаза обратились на него с пристальным, звериным вниманием.

— Вы из какой страны? — спросил крестьянин.— Вы кто?

— Американец.

— А-а, американец... Он американец,— сказал он жене.

— А-а.

Девушка раздраженно дернулась и продолжала хмуро смотреть в окно.

Тогда старик стал с приветливым любопытством животного разглядывать своего спутника с ног до головы. Осмотрел его ботинки, костюм, пальто и наконец поднял взгляд к сетке

над его головой, где лежал его чемодан. Он подтолкнул жену под локоть и указал на чемодан.

— Материал неплохой,— сказал он вполголоса.— Настоящая кожа.

— Да, очень хороший.

И оба некоторое время смотрели на чемодан, потом снова обратили любопытный взгляд на молодого человека. Тот опять предложил старику сигарету, и старик взял и поблагодарил его.

— Это прекрасно, вот это,— сказал он, указывая на сигарету.— А стоит дорого?

— Шесть франков.

— А-а... это очень дорого.— И поглядел на сигарету более почтительно.

— Зачем вы едете в Орлеан? — спросил он.— Вы там кого-нибудь знаете?

— Нет, просто хочу посмотреть город.

— Как? — тупо спросил старик.— У вас там дела?

— Нет, хочу просто посетить... посмотреть город.

— Мсье говорит, что хочет посмотреть город,— яростно вмешалась дочь.— Ты совсем ничего не понимаешь?

— Я не понимаю, что он говорит,— возразил старик.— Он не говорит по-французски.

— Очень даже хорошо говорит,— сердито произнесла она.— Я его прекрасно понимаю. Это ты бестолковый. Вот и все.

Крестьянин некоторое время молчал, затягиваясь сигаретой и дружески поглядывая на молодого человека.

— Америка очень большая, да? — спросил он наконец, широко разведя руки.

— Да, очень большая. Гораздо больше, чем Франция.

— Как? — опять спросил крестьянин озадаченно и терпеливо.— Я не понимаю.

— Он говорит, Америка гораздо больше, чем Франция! — крикнула девушка измученным тоном.— Я все понимаю, что он говорит.

Несколько минут длилось неловкое молчание, никто не

раскрывал рта. Отец курил свою сигарету, раза три порывался, видимо, заговорить, но растерянно продолжал молчать. Дождь за окнами поливал теперь поля длинными косыми струями, а дальше в сером тревожном небе, где полагалось быть солнцу, светилось белое пятно, словно старалось прорваться наружу. Заметив это, крестьянин улыбнулся и, доверительно пригнувшись к молодому человеку, постучал его по колену крупным заскорузлым пальцем, потом указал на солнце и проговорил медленно и внятно, как учат ребенка:

— *Le so-leil.*

И молодой человек послушно повторил за ним это слово:

— *Le so-leil.*

Старик и его жена просияли от радости и одобрительно закивали, приговаривая: — Да, да, хорошо, очень хорошо,— и старик, как всегда ожидая от жены поддержки, добавил: — Он сказал это очень хорошо, правда?

— Да, да, превосходно!

Тогда он указал на дождь и, сделав своими крупными руками скользящее движение вкось и вниз, опять проговорил, очень медленно и терпеливо:

— *La pluie.*

— *La pluie*,— благонаравно повторил юноша, и крестьянин оживленно кивнул и сказал: — Хорошо, хорошо, говорите вы прекрасно, скоро будете говорить, как француз.— Потом указал на поля за окном и сказал ласково:

— *La terre.*

— *La terre*,— отозвался молодой человек.

— Говорю я тебе,— сердито крикнула девушка со своего места у окна.— Он знал все эти слова. Он очень хорошо говорит по-французски. Это ты такой бестолковый, что не понимаешь его. Вот и все.

Старик ей не ответил, а на юношу продолжал глядеть, словно хваля и одобряя. Потом уже побыстрее, нанизывая слова, указал на солнце, дождь и землю и сказал:

— *Le soleil, la pluie, la terre.*

Молодой человек повторил, и старик покивал с довольным

видом. Потом все долго молчали, и единственным звуком был беззаботный перестук маленького поезда, и девушка все так же хмуро глядела в окно, а там дождь поливал плодородные поля длинными косыми струями.

Уже в сумерки поезд остановился на маленькой станции, и все приготовились выходить. Дальше этот поезд не шел. Едущие в Орлеан пересаживались здесь на другой поезд.

Крестьянин, его жена и дочь собрали свои пожитки и вышли на перрон. На другом пути ждал другой маленький поезд. Крестьянин указал на него крупным заскорузлым пальцем и сказал молодому человеку: — Орлеан. Вон ваш поезд.

Молодой человек поблагодарил и отдал ему пачку с остатками сигарет. Крестьянин благодарил его горячо и долго, а на прощание еще раз быстро указал на солнце, на дождь и на землю и произнес с доброй дружеской улыбкой:

— *Le so-leil, la pluie, la terre.*

И молодой человек кивнул, показывая, что все понял, и повторил слова старика, а старик одобрительно покивал головой и сказал:

— Да, да, очень хорошо. Дело у вас пойдет.

Услышав это, девушка, обогнавшая родителей, все с тем же хмурым, независимым и пристыженным видом оглянулась и крикнула в яростном отчаянии: — Я же тебе говорю, мсье все это знает... оставь ты его в покое... Только себя дураком выставляешь!

Но старик и старуха словно и не слышали ее, а смотрели на молодого человека с дружеской улыбкой и простились с ним за руку тепло и сердечно.

Потом он пересек пути и вошел в купе того, другого поезда. Когда он снова выглянул в окно, крестьянин и его жена стояли на платформе и смотрели на него с добрым любопытством на старых лицах. Поймав его взгляд, старик опять указал своим крупным пальцем на солнце и крикнул:

— *Le so-leil!*

— *Le so-leil!* — отозвался юноша.

— Да, да,— крикнул старик и рассмеялся.— Очень хорошо.

Тогда дочь подарила молодого человека хмурым взглядом, рассмеялась коротко и безнадежно и сердито отвернулась. Поезд тронулся, но старики еще смотрели ему вслед. Он махнул им рукой, и старик махнул в ответ своей ручищей и, смеясь, указал на солнце. И молодой человек кивнул и крикнул что-то, означавшее, что он понял. А девушка тем временем сердито пожала плечами, повернулась спиной и уже уходила прочь в обход станционных зданий.

Потом они исчезли из виду, поезд быстро стряхнул с себя городок, и не осталось ничего, кроме полей, земли, дымных и загадочных далей. А дождь все шел.

И странно время, как лесная тьма

Несколько лет назад на одной из платформ мюнхенского железнодорожного вокзала среди людей, столпившихся у вагонов готового к отправлению швейцарского экспресса, стояли женщина и мужчина — женщина столь прелестная, что ее образ всегда будет неотвязно преследовать того, кто ее увидел, и мужчина, на темном лице которого уже запечатлелся знак роковой и странной встречи.

Достигшая зенита зрелой и безупречной красоты, женщина вся, вплоть до ярких и полных губ, так и светилась жизнью и здоровьем — очаровательная, дивно сочетающая в себе все составные элементы привлекательности, собранные с такой изысканной соразмерностью и в таком гармоничном единстве, что, даже видя ее воочию, трудно было поверить собственным глазам.

Тем более что, не отличаясь чересчур высоким ростом, она по временам словно начинала вдруг над всеми величественно, царственно возвышаться и тут же, тесно прильнув к своему спутнику, превращалась в застенчивую малютку. Ее правильная фигура, казалось ни в коей мере не утратившая гибкой стройности девичества, в то же время была пышной, волнисто переливающейся всею чувственной завершенностью женственных очертаний, и каждое движение этой женщины было исполнено обольстительной грации.

Женщина была модно одета; поверх короны ее рыжеватых, отливающих медью волос красовалась маленькая шляпка, затеняя глаза, подернутые голубоватой дымкой, делавшей их бездонными и позволявшей им в печали ста-

новиться почти черными и менять свой цвет с каждым мимолетным настроением, тенью пробегающим по ее лицу. Со своим спутником она разговаривала голосом глубоким и нежным, и ее лицо при взгляде на него освещалось едва заметной чувственной улыбкой. Женщина ему горячо, страстно и радостно что-то доказывала, с ее уст то и дело срывался тихий смех, грудной и воркующий; он переполнял ее, изливался и нежно таял.

Разговаривая, они прогуливались по платформе, при этом женщина держала своего спутника под руку, положив маленькую ладонь в перчатке на рукав его тяжелого пальто и прильнув к нему вплотную, а временами склоняя свою прелестную головку, горделивую и грациозную словно цветок, к его плечу. И снова они замирали и секунду-другую пристально друг в друга вглядывались. Теперь она игриво его за что-то отчитывала, журила его, нежно трогая за плечи, стягивая вместе толстые меховые лацканы его пальто, и предостерегающе поднимала обтянутый перчаткой миниатюрный пальчик.

Все это время мужчина любовался ею; говорил мало, но пожирал ее огромными темными глазами; они горели немеркнувшим пламенем умирания и жили, казалось, только за счет ее, буквально вбирая ее в себя с жадностью и ненасытной нежностью любви. Это был еврей непомерно большого роста, изможденный и до того иссушенный болезнью, что его тело терялось, заброшенное и позабытое внутри облекающих его тяжелых и дорогих одежд.

От его худого бледного лица, истощенного почти до бестелесности соприкосновения костей и кожи, оставался один гигантский нос, так что оно было не столько лицом, сколько птичьей маской смерти, освещенной парой пылающих голодных глаз и подкрашенной с боков двумя горящими лихорадочной краснотой плитками румянца. Однако при всем безобразии болезни и исхудания это лицо было необычайно волнующим и запоминающимся: лик благородный и трагический, с печатью смерти.

Но вот пришло время расставаться. Послышались



В Берлине, 1935 год

предупреждающие выкрики проводников, по всей длине платформы пронесся единый порыв движения, вихри суеты закружились в компаниях друзей. На виду у всех люди обнимались, целовались, жали друг другу руки, плакали, смеялись, окликали остающихся, возвращались, чтобы еще раз коротко и крепко поцеловаться, и поспешно забирались в свои купе. На незнакомом языке раздавались клятвы, ругательства, уверения, торопливые намеки и остроты, скрытый смысл которых так дорог каждой группе расстающихся и которые тотчас же вызвали раскаты хохота; звучали слова прощания, неизменно одинаковые во всем мире:

— Отто! Отто!.. Ты захватил то, что я дал тебе?.. Проверь! На месте ли? — Тот проверял, все было на месте; приступы смеха.

— Ты Эльзу увидишь?

— Что такое? Не слышу! — выкрик; рука приложена к уху, голова повернута, на лице недоумение.

— Я! говорю! ты! Эльзу! увидишь?! — истошный вопль из-под сложенных рупором ладоней возносится над гомонном толпы.

— Да. Видимо, да. Мы должны с ними встретиться в Санкт-Морице.

— Скажи ей, пусть напишет.

— Что? Я тебя не слышу.— Такая же точно пантомима, как перед этим.

— Я! говорю! скажи! ей! пусть! напишет! — снова вопль.

— Ах да! Да! — быстрый кивок; улыбка: — Скажу, скажу.

— ...или я на нее рассержусь!

— Как? Ничего не слышу, такой шум...— опять те же телодвижения.

— Я! говорю! скажи ей! я рассержусь! если она! не напишет! — снова проревел остающийся, нарочно надсаживая глотку.

И тут же какой-то мужчина, только что лукаво нащептывавший женщине, которая вся так и трепетала от душивше-

го ее смеха, с ухмылкой обернулся, чтобы прокричать что-то уезжающему приятелю, но женщина помешала ему — от смеха раскрасневшаяся, она схватила его за руку, самозабвенно простонав:

— Нет!.. Нет!..

Но мужчина, продолжая ухмыляться, приставил сложенные рупором ладони ко рту и заорал:

— А дяде Вальтеру скажи, пусть надевает свои...

— Что-что? Не слышу! — Ладонь около уха, и голова повернута, как перед этим.

— Пускай! говорю!..— нарочито зычно начал было выкрикивать мужчина.

— Нет!! Нет!! Нет!! Тшшш,— захлебываясь смехом, взмолилась женщина, дергая его за руку.

— ...пускай дядя Вальтер! непременно! надевает! свои шерстяные...

— Нет!! Нет!! Ну нет же, Гейнрих! Тшшш! — заходилась женщина.

— Те толстые! на которых! тетя Берта вышила! его инициалы! — безжалостно гнул свое мужчина.

Тут загомонила вся толпа, слышались взвизги смеющихся женщин, протестующие выкрики и громкое:

— Тшшш! Тише!

— Ja-ja!! Скажу, а как же! — выпалил в ответ ухмыляющийся пассажир, едва вокруг все немножко приуспокоились.— Да только у него-то! может, и нет их! больше,— осененный запоздалой догадкой, радостно спохватился уезжающий.— Может! какая!-нибудь! из *фройляйн* тамошних...— Тут у него не хватило воздуха, и он захлебнулся смехом.

— Отто! — взвизгнула женщина.— Тшшш!!

— Может! какая!-нибудь! из *фройляйн*! их у него...— от смеха он закашлялся.

— О-о-о-т-то!.. Как не стыдно! Тшшш! — в один голос закричали на него женщины.

— На память! от старика! Мюнхена! — проревел в ответ ему острослов-напарник, и снова всех посвященных так

и скорчило. Когда они слегка пришли в себя, один из мужчин, борясь с одышкой, запинаясь и вытирая брызнувшие из глаз слезы, начал:

— Скажи! Эльзе! — Тут голос подвел его, сорвавшись на еле слышный писк, и пришлось ему прерваться, чтобы еще раз вытереть глаза.

— Что?! — гаркнул ухмыляющийся пассажир.

— Скажи! Эльзе! — начал тот увереннее, — что тетя Берта! Ох, не могу! — опять слабо простонал он, запнулся, вытер залитые слезами глаза и впал в беспомощное молчание.

— Что-что?! — пронзительно выкрикнул провожаемый, ладонью похлопывая себя по безотказному уху. — Что сказать Эльзе?

— Скажи! Эльзе! что тетя Берта! посылает! ей! рецепт! слоеного пирога! — уже совсем навзрыд проплакал остающийся, словно ему любой ценой надо было выжать из себя эти слова, пока его не постиг неминуемый и полный упадок сил. Это на первый взгляд совсем не многосмысленное упоминание слоеного пирога тети Берты возымело действие поистине поражающее; ничто из происходившего прежде не шло даже в отдаленное сравнение с припадком судорог, который теперь охватил всю группку приятелей. Все разом задергались, охваченные внезапной падучей смеха; они качались как пьяные, в поисках опоры немощно хватались друг за друга, слезы градом катились из их опухших глаз, а из разинутых ртов по временам вырывались измученные охвостья звуков: придавленные всхлипы, слабые взвизги женщин — одышливый приступ изнурительной веселости, из которого в конце концов вынырнув, все понемногу, икая и кашляя, кое-как стали приходиться в себя.

Что уж там было, какой крылся тайный смысл в явно банальном напоминании, ввергнувшем целую компанию в конвульсии такого буйного ликования, — посторонним этого постигнуть не дано, однако и на других пример подействовал заразительно: люди поглядывали на веселя-

щуюся компанию, ухмылялись и, посмеиваясь, качали головами. Нечто подобное происходило вдоль всего состава. С самыми разными людьми — озабоченными и беспечными, грустными и веселыми, юными, старыми, спокойными, равнодушными и взволнованными; со всеми теми, кого обуревало стремление к деятельности и кого гнала жажда развлечений; с теми, в ком каждый жест, слово, движение выдавало томление, радость и надежду, пробужденную предстоящим путешествием, и с теми, кто, скользнув по сторонам усталым и безразличным взглядом, садились на свои места и более ничем из обстоятельств отъезда не интересовались,— со всеми и везде происходило одно и то же.

Звучал всеобщий, универсальный язык проводов, единый и неизменный по всему миру,— язык зачастую пустой, банальный и даже никчемный, но по этой самой причине и странно трогательный, ибо служит он, чтобы прятать в сердцах людей глубинные переживания, заполнять ту пустоту, что появляется в их душах при мысли о расставании; чтобы служить щитом, маской, скрывающей истинные чувства.

Благодаря этому для юноши чужестранца, для постороннего, который все это видел и слышал, ритуал отправления поезда был полон острой, волнующей значительности. Слыша привычные слова и видя привычные сценки — слова и сценки хотя и скрытые уборами чужого языка, но в сущности неотличимые от тех, что он за свою жизнь наслушался и навиделся, наблюдая своих соотечественников,— он вдруг почувствовал, как никогда прежде, гнетущее одиночество посвященного, ощутил людскую тождественность, которая странным образом объединяет всех во всем мире и коренится в самой структуре человеческой жизни,— куда глубже наречий, на которых люди говорят, и рас, к которым они принадлежат.

Но теперь, когда настало время расставаться, женщина и умирающий мужчина молчали. Взявшись за руки, глаза в глаза, они глядели друг на друга со жгучей, жадной неж-

ностью. Обнялись, и ее руки обвились вокруг него, ее полное жизни сладостное тело прильнуло к нему, ее яркие губы припали к его губам так, словно никогда она не сможет отпустить его. Наконец женщина буквально оторвала себя от него, отчаянно и бессильно подтолкнула его ладонями и сказала: «Иди, иди! Пора!»

Тогда мужчина — это страшилище — повернулся и поспешно вошел в вагон; поезд медленно двинулся и начал отползать. Мужчина тем временем уже стоял в коридоре, высунувшись из окна и не спуская глаз с женщины, а женщина шла по платформе, стараясь как можно дольше держать его в поле зрения. Но вот поезд набрал ход, женщина пошла медленнее, остановилась — глаза мокрые, губы шепчут никому не слышные слова,— и, потеряв из виду мужчину, крикнув “auf Wiedersehen!”* — она приложила пальцы к губам и послала ему воздушный поцелуй.

А юноша, которому предстояло на краткий миг стать попутчиком этого призрака, еще чуть задержался в коридоре: все глядел из окна в сторону огромной арки вокзального навеса — будто бы наблюдая, как разбредается, покидает платформу народ, а на самом деле не видя ничего, кроме высокой прелестной женщины, провожая глазами ее медленно удаляющуюся фигуру: голова опущена, поступь неторопливая, скользкая, исполненная невыразимой грации, и чувственные, волнисто-переливающиеся движения. Разок приостановилась оглянуться, потом повернулась и пошла дальше так же медленно, как перед этим.

Вдруг стала. Какой-то человек, отделившись от кучки людей на перроне, подошел к ней. Он был совсем молод. Женщина помедлила, словно боясь пошевелиться, протестуяще подняла затянутую в перчатку руку и снова двинулась, а через секунду они уже сплелись в яростном объятии, стояли, не видя никого вокруг, и осыпали друг друга страстными поцелуями.

Когда юноша вернулся на свое место, его сосед, который уже успел войти из коридора в купе и, хрипло дыша,

* до свидания (нем.).

упасть на подушки своего диванчика, был почти спокоен и больше не казался столь изнуренным. С минуту его младший попутчик пристально глядел на птичий профиль, на устало прикрытые глаза, пытаясь отгадать, увидел или не увидел этот обреченный встречу на платформе, а если да, то что может нести ему такая новая крупица опыта. Но маска смерти была загадочной, непроницаемой; ничего поддающегося истолкованию юноша за ней не разглядел. В уголках тонких губ заиграла слабая улыбка, неожиданно осветившая лицо, а пылающие глаза, теперь уже открытые, были такими запавшими и отстраненными, что казалось, будто они глядят из несказанной глубины на что-то очень далекое. Спустя мгновение мягким, приглушенным голосом он сказал:

— Это биль моя жена. Сейтшас, когда зима, мне нужен ехать один. Так есть самое хорошо. Когда весна, мне будет лучше, и она ко мне приедет.

Весь остаток зимнего дня поезд мчался по просторам Баварии. Мощно и быстро набрал скорость, оставил позади последние редкие домики предместий и в мгновение ока вынесся на плоскую равнину, окружающую Мюнхен.

День был серым, непроницаемое небо тяжело нависало, хотя от него уже вовсю веяло живительной силой альпийской чистоты — не имеющей запаха, но при этом явственно осязаемой ликующей энергией холодного горного воздуха. Чуть ли не через полчаса поезд катил по предгорьям; мимо проплывали холмы, долины, где-то поблизости маячили заоблачные хребты, и все это осеняли своим темным колдовством леса Германии: леса здесь — это ведь не просто скопище деревьев — нет, это само волшебство, это ворожба и очарование, пленяющее сердца людей, а особенно тех иностранцев, кто узами крови как-то связан с этой землей, с этой темной музыкой, тревожащими воспоминаниями, никак до конца не уяснимыми.

Поразительное чувство, которое возникает у человека, впервые попавшего в страну своих отцов, сродни предвестию

неминуемо подступающего прозрения. Словноходишь в тот неведомый край, к которому так страстно тянулся сердцем в юности, в край смутной и сокрытой стороны твоей души, объемлющей и незнакомаго брата, и весь народ этой земли — сказочной земли твоего детства. И вся она открывается тебе в то мгновение, когда ты ее увидел, потрясенный и точностью узнавания, и недоверием сразу: и явственно, и странно, и привычно все вокруг, словно во сне, ибо так всегда бывает во сне и в наваждении.

Что это? Что за дикая, неумная радость и печаль ширится у тебя в груди? Что это за воспоминание, которого не передать, что за вспышка узнавания, которую не облечь в слова? Не высказать. Тут человеческая речь бессильна, не за что зацепиться, нечем обосновать реальность этой памяти, так что язвительная гордыня вольна поднимать на смех глупую податливость предрассудкам. И все-таки эту темную страну узнаешь вмиг, едва попав сюда,— даже без языка, без доказательств, без надежды высказать то, что чувствуешь; но что у нас есть, то есть, что мы знаем, то знаем, и мы — это мы.

Да кто же это — мы? Мы обнаженные, мы растерянные американцы. Необъятны и пусты небеса, склонившиеся над нами, и разноязыкие легионы колоннами движутся в токе нашей крови. Откуда оно берется — это чувство странной сопричастности, внезапного узнавания и словно навязчивым сном навеянного близкого и ускользающего воспоминания? Откуда берется эта безжалостная жажда, эта болезненная страсть; и музыка — темная и торжественная, призрачная и волшебная, которая доносится сквозь чашу леса? Как так случилось, что этот парень, американец, познал чужую страну с первого мгновения, лишь только увидел ее?

Как произошло, что с первого вечера в немецком городке он стал понимать язык, которого никогда не слышал, заговорил сразу же и высказывал все что хочет на незнакомом языке, не владея им, но общаясь при помощи причудливого аргю (ни нашим, ни вашим), вроде бы так точно

воплощающего дух языка — самого языка, а не слов, которые произносились,— что оно изобреталось само собой, безотчетно, а понимание возникало мгновенно; и таким манером он бывал понят каждому, с кем говорил.

Нет. Доказать он ничего не смог бы, но был уверен, что в глубине его мозга, в его крови подспудно таится безусловное понимание этой страны и соплеменников его отца. Он чувствовал все это — весь трагический и нерасторжимый замес своего происхождения. Чувствовал в себе грозный сплав звериного начала и начала духовного. Знал этот неназываемый страх перед дикой древней чащей, перед цепью дикарских фигур, вбирающих его в крошечный сатанинский круг, это ощущение, будто тонешь в слепом лесном ужасе первобытных времен. Носил в себе и неспешную алчность вожделий ненасытного борава, и в то же время странную и могучую музыку духа.

Прожорливый зверь научил его ненависти и отвращению — обуреваемый неутолимой жадью, вечно голодный зверь с кабаньей мордой, этакая толстая, медлительная рука, прорывающая все преграды, чтобы нащупать теплящуюся несытую похоть. И он ненавидел этого громадного зверя адской и смертельной ненавистью, потому что чувствовал и знал его в себе и сам был жертвой его неукротимых, злостных и непотребных желаний. Вино ему — целыми реками, и жареного ему быка, что целиком проворачивается на вертеле, а вокруг чтобы стена гигантских звероподобных тел, ревущих во мраке лесной чащобы на варварский мотив, и непомерную плоть огромных белокурых женщин, ярящуюся на грубой брашне всепожирающей, ненасытной утробы, гигантского чрева, не знающего ни усталости, ни пресыщения,— все это смешалось в его крови, вошло в его душу, в его жизнь.

Каким-то образом это досталось ему от темного безвременья и ужаса древней чащобы вместе со всем, что есть в ней волшебного, волнующего, странного и прекрасного: вот хрипловато докатились звуки рога, едва слышны, как будто эльфы зазывают из-за леса, их слабый зов еле до-

носится сквозь бесконечные и странные переплетения в густом сумбуре крайностей старой германской души. Жестокая, неразрешимая, странная и печальная загадка нации: энергия и сила неподкупного духа, воспарившего из огромной, исполненной порока звериной туши в горние выси, к лучезарной чистоте,— и здесь уже непреодолимая магия великой музыки, благородство поэзии мучительно и нерушимо сплелись и сплывались со слепой и грубой звериной алчностью и похотью в человеке.

Все это было для него своим, и все вмещалось в его жизнь. И никогда — он знал,— нет, никогда не отделить одно от другого, как не отделить никакой перегонкой от его крови кровь его отца, не расчленить древнего кованого узора темных времен. Вот почему теперь стоило ему взглянуть из окна вагона на пустынную альпийскую страну снегов и темных зачарованных чащ, как тотчас приходило уже не удивляющее чувство узнавания, ощущение, что эти места он помнит с детства, что это его родной дом. И что-то темное, неукротимое и странно ликующее разливалось, ширилось в его душе как величавая и неотвязная музыка сновидений.

Теперь, когда знакомство завязалось, этот человек-призрак принялся со свойственным его нации ненасытным и бесцеремонным любопытством забрасывать своего попутчика бесчисленными вопросами о его жизни, о доме, о профессии, о том, куда он едет и зачем. Юноша отвечал с готовностью и без раздражения. Понятно было, что выспрашивают его довольно беззастенчиво, но шепчущий голос умирающего звучал так вкрадчиво, так дружелюбно, мягко, его манера держаться была такой любезной, доброжелательной и располагающей, его улыбка, приятно смягченная еле различимым флером усталости, была такой светлой, такой обезоруживающей, что на вопросы отвечалось легко, как-то само собой.

Ведь молодой человек американец, не правда ли? — Да.— И как давно уже он за границей — два месяца?

Три? Почти год! Неужели так долго? Значит, Европа ему нравится, верно? Это его первое путешествие? Нет? Четвертое? — Брови призрака взметнулись в несколько нарочитом удивлении, однако с его нервных, тонких губ так и не сошла едва заметная усталая и снисходительная улыбка.

В результате юноша был выжат досуха; призрак узнал о нем все. Потом с минуту он сидел, глядя на юношу со своей едва заметной, просветленной, слегка насмешливой, но при этом доброй улыбкой. В конце концов устало и настойчиво, со спокойной категоричностью опыта и смерти, он сказал:

— Ви ошен молоды. Да. Сейтшас вам хочется все повидать, все иметь, но ви нитшего не имеет. Это есть правда — так? — начал он, убеждающе улыбаясь. — Это пройдет. Наступит день, когда ви будет хотеть только малость; и, может, ви будет иметь эту малость... — тут вновь он озарился лучистой, обезоруживающей улыбкой. — И так есть самое хорошо, верно? — Он опять улыбнулся, а потом устало сказал: — Я знаю, знаю. Сам вроде вас везде объездил. Старался все повидать и не имел нитшего. Теперь больше не ежу. Везде одно и то же, — проговорил он и, произведя тонкой бледной рукой усталый жест разочарования, поглядел в окно. — Поля, холмы, горы, реки, города, народы — вам хочется понимать о них обо всех. Одно поле, один холм, одна река, — голос его поник до шепота, — и все, и довольно!

На секунду он прикрыл глаза; когда он заговорил снова, его шепот был еле слышен:

— Одна жизнь, одно место, одно время.

Стемнело; в купе зажегся свет. Вновь шепот уходящей жизни был обращен к юности с настойчивой и непреложной, хотя и кроткой просьбой. На этот раз потребовалось потушить в купе свет, чтобы призрак мог расположиться на своем диванчике отдохнуть. Младший попутчик с готовностью и даже с радостью согласился; его дорога близилась к концу, а сияние рано взошедшей луны изливалось

на горные леса и снега чары странной, сверкающей и неотступной магии, сообщавшей темноте внутри вагона некий собственный, фантастический и загадочный, свет.

Призрак лежал тихо, распростершись на подушках своего диванчика,— глаза закрыты, исхудалое лицо, на котором две ярко горящих карминных плиты румянца теперь отливали лиловым, незнакомое и страшное в этом колдовском свете, напоминало клювастую маску огромной птицы. Казалось, он едва дышал: ни звука, ни движения жизни не слышалось в купе, лишь стук колес да кожаное поскрипывание и похрустывание отделки вагона — только этот странно-привычный, взывающий к глубинам памяти музыкальный фон, создаваемый мчащимся поездом, мощное симфоническое однозвучие, которое само есть голос тишины и вечности.

Захваченный магией колдовского света и времени, юноша сидел, неотрывно глядя в окно на зачарованный черно-белый мир, величественно проплывающий мимо в эфемерном сиянии луны. Наконец встал, вышел в коридор, осторожно притворил за собой дверь и двинулся по узкому проходу в хвост мчащегося состава, из тамбура в тамбур, пока не добрался до вагона-ресторана.

Здесь все было в движении, все блистало и лучилось чувственным теплом, роскошью и весельем. Жизнь поезда, казалось, вся сосредоточилась в этом месте. Официанты — расторопные, ступающие с ненарушимой устойчивостью — проворно сновали по проходу бешено мчащегося вагона и, задерживаясь у столиков, обслуживали посетителей, раскладывая по тарелкам вкусно приготовленные кушанья из больших посуды, которыми были уставлены подносы. За официантами следом ходил *sommelier**; он откупоривал длинные запотевшие бутылки рейнского вина — бутылку зажимал между колен, выдергивал пробку, раздавался бодрящий хлопок, и пробка летела в специальную корзиночку.

За одним из столиков сидела прелестная женщина с обрюзгшим стариком. За другим гигант, могучего вида немец

* Служащий ресторана, ведающий винами (*франц.*).

в рубашке с воротником «апаш» (бритый череп, лицо огромного хряка, лоб одинокого мыслителя), с сосредоточенным видом скотского вождения пожирал глазами поднос, откуда официант накладывал ему мясо. При этом немец плотоядным и как бы прямо из чрева исходящим голосом говорил: “Ja!.. Gut!.. und etwas von diesem hier auch...”*

Сцена, полная богатства, силы и роскоши; один взгляд — и сразу чувствуешь, что ты и впрямь путешествуешь в первоклассном европейском экспрессе,— ощущение, резко отличающееся от того, которое испытываешь, когда едешь в американском поезде. В Америке поездка по железной дороге вызывает прилив буйного ликования пополам с тоской: всем существом осязаешь эти дикие, неогороженные, безграничные и невозделанные просторы страны, по которой проносится поезд, а при мысли о зачарованном городе, куда ты стремишься, тебя распирает безмолвная, невыразимая в словах надежда на исполнение неясных и сказочных обещаний той жизни, что тебя там ждет.

В Европе состояние радости и удовольствия более реально, непреходяще. Роскошные поезда, богатое убранство, темный пурпур, глубокая синева, свежая, яркая окраска вагонов, хорошая еда и искрящееся, веселящее вино, да и вид пассажиров — жизнелюбивых космополитов-богачей,— все это вселяет ощущение силы и чувственной радости, намекает на близость неминуемого исполнения желаний. За считанные часы, окруженный миром насыщенной культуры и многолюдством целых наций, ты переносишься из страны в страну, через века и эпохи, от одного экскурсионного рая к другому.

И взамен буйного ликования и безымянной надежды, которая появляется при взгляде из окна американского поезда, здесь, в Европе, ощущаешь невероятную радость осуществления, моментальное, осязаемое удовлетворение, словно на свете нет ничего, кроме богатства, силы, роскоши и любви, а жить и наслаждаться этой жизнью во всем бесконечном разнообразии удовольствий предстоит вечно.

* Да!.. Хорошо!.. и немного из этой вот тоже... (нем.).

Юноша поел и расплатился и снова принялся пробираться по вагонам — коридор за коридором, по всей длине мчащегося состава. Добравшись до своего купе, он увидел, что призрак лежит, все так же вытянувшись на своем диванчике, и яркие отблески луны по-прежнему озаряют его птичий профиль.

Лежащий не изменил своей позы ни на дюйм, однако юноше показалось, что произошла какая-то неуволимая, но пагубная перемена, хотя, в чем она заключалась, определить он бы не взялся. Что изменилось? Он сел на свое место и некоторое время неотрывно смотрел на безмолвно тающие во мраке контуры человека напротив. Он что — не дышит? Подумав, юноша почти уверил себя в том, что дыхание есть: исхудалая грудь вздымается и опадает; и все-таки полной ясности не было. Зато совершенно ясно он увидел полоску, багрово-черную в оттененном луной сумраке, протянувшуюся из уголка плотно сомкнутых губ, и на полу большое багрово-черное пятно.

Что теперь надо сделать? Что теперь можно сделать? Навязчивый свет губительной луны, казалось, опутал душу своей черной магией, погрузил ее в трясину безмерной вялости и апатии. Вдобавок поезд тоже ослабил свой бег, показались первые огоньки города; это был конец путешествия.

И вот поезд все медленнее подходит к станции. На подъездных путях посверкивание рельсов, маленькие фонарики стрелок и светофоров, горящие ярко и строго, — зеленые, красные, желтые, мучительно резкие в темноте; поодаль низкие товарные платформы и сцепки неосвещенных поездов, пустых и темных, только что покинутых жизнью и замерших в чутком и странном ожидании. Потом мимо окон экспресса неспешно поплыли длинные станционные перроны, и вот уже с козлиной прыткостью забегали крепыши носильщики, нетерпеливо жестикулируя, переговариваясь, окликакая пассажиров, которые тут же принялись передавать свой багаж в окна.

Юноша осторожно вынул из сетки над головой свой

чемоданчик, взял пальто и ступил в узкий коридор. Беззвучно задвинул за собой скользящую дверь купе. Потом снова приотворил ее и секунды две постоял в нерешительности, глядя в купе. В полумраке виднелся призрачный абрис человека, с трупной неподвижностью лежащего на застеленном диванчике.

Не благо ли это — в конце пути безмолвно оставить все как есть? Не может ли быть так, что этот великий сон времени, в котором мы живем, в котором мы все — движущиеся тени, с наивысшей несомненностью позволяет нам утверждать только одно: встретились, поговорили, мгновение были знакомы, пока нас мчало по этой земле куда-то вперед сквозь тьму из одной точки времени в другую, и надо счесть за благо этим удовлетвориться, расстаться так же, как встретились, и пусть каждый в одиночку движется к назначенной ему цели, лишь в одном нуждаясь и лишь одно зная твердо — что всем нам достанется безмолвие и ничего, кроме безмолвия, в конце пути?

Поезд окончательно остановился. Юноша прошел в конец коридора и спустя мгновение, ощутив кожей бодрящий ожог ледяного ветра, вбирая легкими животворный, пахнущий снегом воздух, он уже шел по перрону вместе с сотней других людей, идущих все в одну сторону — кто-то к дому и несомненности, кто-то к новым местам и надеждам, к голоду и переполняющему предвкушению радости, к обещаниям городских огней. А про себя он знал, что едет теперь домой.

В парке

В тот год мы жили, кажется, с Беллой. Хотя, что я, мы, наверно, жили с тетей Кейт — или нет, может, еще с Беллой. Не знаю, мы так часто переезжали и так давно это было. У меня уже все перепуталось в голове. Когда папа играл, он вечно носился, он не мог усидеть на месте, то он играл в Нью-Йорке, а то уезжал на гастроли с мистером Мэнсфилдом, и тогда он пропадал месяцами.

Одним словом, в тот вечер после спектакля мы вышли на улицу и свернули на Бродвей. Нам с ним обоим бывало до того хорошо, до того весело, что мы чуть не скакали от радости, так и было в тот вечер. Был чуть не первый хороший день весны, воздух прохладный и тонкий, но уже нежный, а небо как из лилового бархата и сияло крупными звездами. Улицы возле театра кишели пролетками, частными каретами, ландо, они без конца подъезжали к театру, и в них садились, садились.

Все мужчины были хороши собой, женщины все были красотки. Все казались веселыми, возбужденными, как мы сами, будто совсем новый мир, совсем новые люди повывлезли из земли с наступленьем весны — все уродливое, нудное, противное, грубое исчезло, — улицы искрились, кипели жизнью. Я видела это все, чувствовала себя его частицей, хотела все это вместить, и что-то такое мне хотелось сказать до того, что даже горло заболело, но я не могла сказать, потому что тех слов, какие мне хотелось, у меня не было. А другого ничего я сказать не могла — все выходило глупо, и вдруг я схватила папу за плечо и крикнула:

— Быть сегодня в апреле в этот день Англии!*

— Да! — закричал он. — И в Париже, Неаполе, Риме, и в Дрездене! И быть в Будапеште! — крикнул папа, — в этот день апреля, где заря приходит в бухту, словно гром из-за морей!**

Он будто стал опять молодой, стал как тогда, когда я девочкой, бывало, стучусь, прошусь к нему в кабинет, а он оттуда дивным актерским голосом: «Вниди, о дочь запустенья, под сей убогий кро-ов».

Глаза у него сверкали, и он запрокинул голову и захохотал своим счастливым, неистовым смехом.

Наверно, это было за год до его смерти. Мне было около восемнадцати. Ну и красотка же я была — просто персик...

В те времена, если он играл, я его встречала после спектакля, и мы шли куда-нибудь ужинать. Вот бы вы с ним спелись... Все только самое-самое лучшее ему подавай. В Нью-Йорке в те времена было изумительно. Столько дивных мест, куда можно пойти, не знаю, не знаю, и ни шума этого, ни сутолоки, иногда кажется — ну просто другой мир. Хочешь — к Уайту или к Мартину, к Дельмонико — бездна дивных мест. А еще одно место было, называлось «У Мока», я там никогда не была, но чуть не первое, что помню с детства, — это как папа приходит домой поздно ночью и говорит, что был у Мока. Он приходит, и я слушаю, как шипит в комнате у меня горелка, а слышу, как он и другие актеры разговаривают с мамой. Бесподобно. Иногда говорили все про Мока. «А, значит, ты был у Мока?» — мне казалось, говорила мама. «А как же! У Мока!» — говорил папа. «И что же ты ел у Мока?» — говорила мама. «А-а, я ел устриц и выпил стакан пива, а еще я ел шоколад «Мокко» у Мока», — говорил папа.

Чуть не каждый вечер после спектакля мы ходили к Уайту, и с нами ходили два священника, папины друзья: отец

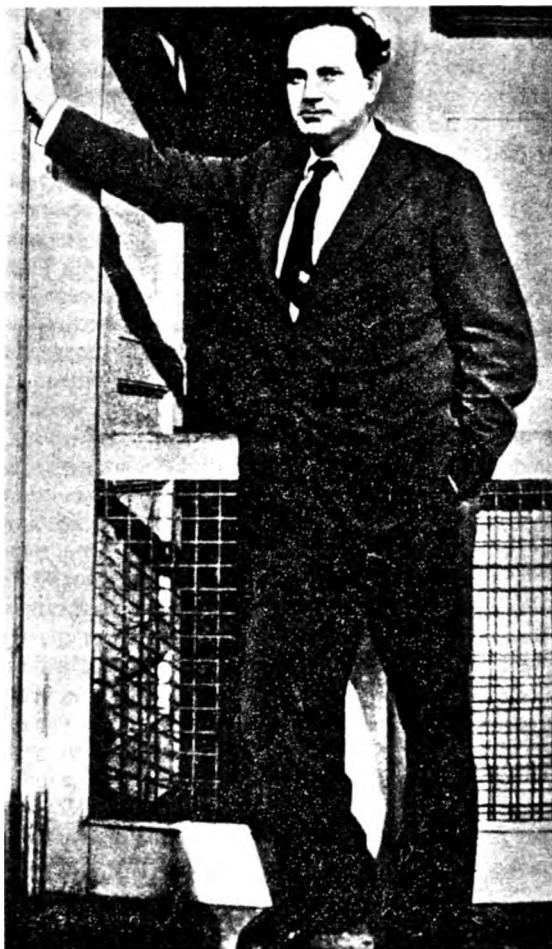
* Перефразированные строки из стихотворения Роберта Браунинга «В Англии весной» (Быть сегодня в Англии в этот день апреля! — пер. Маршака).

** Редьярд Киплинг. «Мандалей». Пер. под ред. В. Стенича.

Долан и отец Крис О'Рок. Отец Долан был высокий, и глаза до того синие, я в жизни ни у кого больше таких не видывала, а отец Крис О'Рок был маленький, с потным смуглым лицом, оно у него было все в черную крапинку, до того странное лицо, я больше, пожалуй, таких странных лиц и не видывала, но вместе с тем какое-то значительное и милое. Отец Долан был дивный, благороднейший человек, добрый, веселый, но он и очень умный был, и откровенный, честный. Он любил театр, знал очень многих актеров, очень многие ходили к нему в церковь, и он любил моего отца. Он был очень образованный человек, знал чуть не наизусть всего Шекспира, они с папой вечно осыпали друг друга цитатами — кто кого перещеголяет. Папа его, кажется, только разок и подловил — на одной строчке из «Короля Лира»: «Князь тьмы — недаром князь»*. Отец Долан говорил, что это «Двенадцатая ночь».

Как они оба любили поесть и выпить! Если кому-то одному надо было назавтра служить мессу, нам приходилось спешить, потому что нельзя ни есть, ни пить после полуночи, если назавтра служишь мессу. И потому оба они, перед тем как сесть, выкладывали на стол часы. Отец Крис О'Рок пил исключительно пиво, и как только он сядет, официант ему сразу, бывало, несет полдюжины стаканов, и он сразу их выпивает. Но если стакан пива стоял перед ними, а било полночь, они его оставляли. Напились, наелись ли, нет ли — неважно, раз било полночь, оба они уходили, если назавтра им было служить мессу. Отец Крис О'Рок ел, бывало, чуть не час целый, будто кто за ним гонится. Он был страшно близорукий, в толстых очках, и то и дело он хватал часы и подносил к самому носу, и косился на них, и пиялся. Он спешил покончить с едой до двенадцати и думал, что всем надо спешить, ужасно беспокоился, вдруг кто-то голодный останется, и вечно всех понукал и дергал. Отец Долан, тот тоже любил покушать, но он и поговорить любил. Иногда разговорится с папой, а про еду и забудет. Отец Крис О'Рок тогда прямо

* Акт 3, сц. 4. Пер. Б. Пастернака.



Томас Вулф в гостях у сестры Мэйбл (1937)

с ума сходил, толкал отца Долана, делал дикое лицо, показывал на часы, наклонялся к нему и шипел зловеще:

— Вы же не успеете! Уже почти двенадцать!

— Ну и что! — говорил отец Долан. — Ну, я не успею! — Сам он был большой, а голос — забавный такой ирландский голосок, живой, бодрый, со смешком, и шел будто страшно издали. — Я еще не видывал, чтобы человек столько думал о своем брюхе! Разве великие христианские святые проводили время в обжорстве и пьянстве, а не в размышлениях, молитве и умерщвлении плоти? Или вы не слыхивали никогда о грехе чревоугодия?

— Как же, — говорил отец Крис О'Рок. — Слышал-слышал, но я слышал и о мерзком грехе расточительства. Постыдились бы, отец Долан, приплетать сюда великих христианских святых. Не было еще такого святого, который бы хвалил того, кто пренебрегает дарами господними. Думаете, я буду тут сидеть и смотреть, как пропадает добрая еда, когда у бедняков по всему свету ныне ее не хватает?

— Ладно уж, — говорил отец Долан. — Каких я только не читал доводов, и ученых христианских мыслителей, и проклятых еретиков, от святого Фомы Аквинского до Спинозы, и сам в молодые годы мог хоть кого переспорить, но такого еще в жизни не слыхивал! Да по-вашему, Аристотеля не отличишь от «Юродивого мальчика» Вордсворта. Если вы мне докажете, что, обжираясь, вы насыщаете бедняков по всему свету, вы самому папе можете объяснить, что Дарвин иезуит, и он вам, ей-богу, поверит!

Ну и вот, значит, когда мы приходили в ресторан, отец Крис О'Рок первым делом выкладывал на стол часы, а папа первым делом заказывал несколько бутылок шампанского. Там уж знали, что мы придем, и держали его во льду, в больших серебряных ведрах. А потом папа брал меню — большая такая карта и вся исписана немыслимой вкуснотой, — хмурился, делал важное лицо, откашливался и говорил отцу Долану:

— Итак, чем еще усладить ваш священнослужительский вкус, сударь мой?

В тот вечер после спектакля мы пошли к Уайту, и оба святых отца нас там уже поджидали. Чуть попозже пришел мистер Гейтс — он жив еще, на днях видела его на улице — совсем стал старый. Он был женат на красотке, каких ты и не видывал, а она сгорела в автомобильной катастрофе. И прямо у него на глазах. Вот ведь ужас, страшней ничего не придумаешь, правда? Ну вот, и по тому, как мистер Гейтс вошел, сразу было ясно, что он чем-то безумно взволнован. Он тоже был большой и толстый, и старые щеки просто дрожали, когда он вошел.

— Боже! — сказал папа.— Кролик несется на всех парусах!

Мистер Гейтс обратился к папе через весь зал, на него даже озирались.

— Джо! Джо! — он сказал, а голос был хриплый такой, пропитой, он, я думаю, сильно пил.— Джо, представляешь себе, что я сделал? Купил безлошадный экипаж! Идем! Покатаемся!

— Погоди, погоди, погоди же! — сказал папа и простер по-актерски руки.— Не спеши, Кролик. Сядь, закуси и выложи все по порядку. Когда ты совершил сей отчаянный шаг?

— Сегодня,— прошептал мистер Гейтс хриплым таким шепотом.— Как ты думаешь, я правильно сделал?

Он обвел нас своими старыми глазами, и они у него буквально вылезали из орбит, а выражение лица ну до того испуганное! Ох! Мы и хохотали! Отец Долан хохотал, папе пришлось колотить его по спине, он до того закашлялся!

Мистер Гейтс был страшно милый человек. Он был большой, толстый, но такой красивый. Такой тонкий человек, и рот у него всегда дрожал и дергался, когда он собирался что-то сказать. Я думаю, потому его и прозвали Кролик.

И папа сказал:

— Сядь и поешь, а там поглядим.

Мистер Гейтс сказал:

— Видишь ли, Джо, там меня механик дожидается, и я не знаю, как с ним быть.

— Так ты что же — нанял его? — спросил папа.

— Ну да,— сказал мистер Гейтс.— Это чудовищно. Я совершенно не знаю, как с ним быть. То есть какое положение в обществе он занимает?

— Он моется? — спросил папа.

— О да,— сказал мистер Гейтс и глянул на отца Долана.— Я думаю, он святуго воду на это употребляет.

— Ай, мистер Гейтс! — я сказала.— Какой ужас! И еще при отце Долане!

Но отец Долан только расхохотался, да я иного и не ожидала, он тоже был большой и толстый, страшно милый человек. И отец Крис О'Рок смеялся, но ему, мне кажется, было не очень приятно.

— То есть,— сказал мистер Гейтс.— Я не знаю, как с ним обращаться. Выше он меня, ниже и вообще?

— На мой взгляд,— сказал папа,— он мало сказать выше, ты где-то под ним барахтаешься. И зачем ты так любишь кататься, Кролик? Ну и саночки же тебе придется возить!

Какой папа был чудный, все его любили. Мистер Гейтс страшно терзался из-за этого шофера. И ведь вспомнишь теперь — до чего смешно, он не знал, сажать ли его за стол со своими домашними, обращаться как с членом семьи — и так далее. Очень он был тонкий человек, мистер Гейтс, большой, толстый, но деликатнейшее, благороднейшее существо.

— М-да, это сложный вопрос социального этикета, Кролик,— сказал папа.— Знаешь, давай пригласим его отужинать с нами. И посмотрим, что он собой представляет.

Ну, мистер Гейтс вышел за ним и очень скоро его привел, и он был, в общем, страшно милый молодой человек, с усиками, в спортивном пиджаке, в кепке, и все на него уставились и толкали друг друга локтями, и он страшно стеснялся. Но папа замечательно умел обращаться с людьми, он сразу вывел его из неловкого положения. Он сказал:

— Садитесь, молодой человек. Хочешь кататься — сперва накорми шофера.

И он сел, и нас накормили изумительным ужином. В ресто-

ране подавали сочные отбивные, обжаренные в масле, и толстые бифштексы, и совершенно обворожительные были устрицы и крабы.

Конечно, был, в общем, не сезон, но мы начали с устриц и шампанского. Молодой человек, я думаю, совсем не привык пить. Папа все подливал ему, и он дико опьянел. Страшно был смешной, все твердил о своей ответственности.

— Жуткая ответственность, ведь от тебя зависит столько жизней,— он сказал. А папа опять ему подливает.— Минутное колебание в решительную минуту — и все пропало.

— Золотые слова,— сказал папа, а сам опять ему подливает.

— Надо иметь ясный ум и твердую руку.

— Именно, сынок,— сказал папа.— Уж теперь-то ты будешь твердый. Просто каменный будешь.

Мистер Гейтс и отец Долан так хохотали, что у них даже слезы потекли. Ох, нам страшно весело было тогда, и все так невинно было.

Потом мы все собрались уходить, и я, в общем, дико волновалась: бедный мальчик еле держался на ногах, и я не знала, что с нами будет. Папа был такой веселый, возбужденный, он так разошелся, в глазах чертики прыгали, он запрокидывал голову и хохотал, на весь ресторан было слышно.

Отец Крис О'Рок назавтра служил мессу, и он ушел, а отец Долан остался с нами. Мы все вышли, и папа с мистером Гейтсом волокли молодого человека, и за нами вышел весь ресторан, и мистер Гейтс сказал, чтоб я садилась впереди, с шофером. Господи, и гордилась же я! А папа и мистер Гейтс и отец Долан сели сзади. Уж и не знаю, как они туда втиснулись, машина была страшно маленькая — я думаю, папа сел к отцу Долану на колени. Ну да! Так и было, я вспомнила.

И все кричали ура, когда мы тронулись. Актеры проводили нас за дверь и смотрели нам вслед, когда мы двинулись в лиловую, бархатную темноту, я как сейчас помню, я оглянулась

и увидела их улыбки, сделанные лица, веселые маски, их тоскливые, загнанные глаза. Они кричали папе разные смешные глупости, спрашивали, какова его последняя воля, и Де Вольф Хоппер тоже был тут, и он бегал, изображал лошадь, и ржал, и пытался залезть на фонарь. Ох, какой восторг!

И мистер Гейтс сказал:

— И куда же мы, Джо?

И папа сказал:

— На край света, только без остановок!

Потом папа сказал молодому человеку, который сидел за рулем:

— Сколько миль она может сделать, сынок? — И молодой человек ответил:

— Она спокойно делает двадцать миль.

— Когда с горки? — сказал папа, просто чтоб его поддразнить, и мы поехали, и — господи! В каком я была восторге! Мне казалось, мы летим. Наверно, он выжимал двадцать миль в час, но это тогда казалось, как сейчас сто, и мы обогнали конного полицейского, и лошадь испугалась, шарахнулась было в сторону, и — господи! Он так разозлился. Погнался за нами галопом, орал, чтобы мы остановились, а папа только хохотал как безумный и кричал:

— Вперед, вперед, сынок! Никакой на свете лошади тебя не догнать!

Но молодой человек испугался и затормозил, и тогда полицейский подскочил и стал говорить, что это, мол, за безобразие и где мы находимся, и буквально хотел всех нас взять под арест за то, что мы в такой час нарушаем порядок «этой штукой». Он все ее называл «эта штука», и таким презрительным тоном, и я ужасно на него рассердилась, мне казалось, она такая красивая, она была выкрашена в роскошный темно-красный цвет, ее прямо съесть хотелось, и я страшно разозлилась, что он говорит о ней в таком тоне.

Сама не знаю, почему я разозлилась, но думаю, потому, что машина мне вообще не казалась «штукой», вещью не

казалась. Уж и не знаю, как бы тебе объяснить, но машина была почти как странное, и красивое, и живое создание, которого мы раньше не знали и которое вдруг прибавило нашей жизни какой-то новой радости, прелести, теплоты. Да, я думаю, так оно и было с теми первыми машинами. Каждая будто отличалась от всех остальных, каждая будто имела свое собственное имя, свою собственную жизнь и характер, и хоть я понимаю, теперь бы они выглядели грубыми, и смешными, и старомодными, но тогда все было иначе. Мы раньше не видели, не знали машин, только про них мечтали, только слыхали об их существовании, и вот я ехала на машине, и это казалось невероятным, но и восхитительно реальным и странным, как и все прекрасное на свете, когда оно случается с тобой в первый раз. Машина была для меня сказочной, будто она явилась с другой планеты, с Марса, и все равно, когда я ее увидела, мне показалось, будто я всю жизнь ее знала, и она будто была связана с этим днем, и часом, и годом, и как-то была частью всего, что происходило в ту ночь, — связана с папой, и со священниками, и с мистером Гейтсом, и молодым механиком, и со всеми загнанными актерскими лицами, со всеми песенками, которые мы в тот год распевали, со всем, что мы говорили и делали, со всем этим странным, невинным, и утраченным, и давним.

Я так хорошо помню, как выглядела эта старая машина, что могла бы с закрытыми глазами ее тебе нарисовать. Помню ее роскошный темно-красный цвет, большие блестящие вороненые фары, дверцу, которая открывалась с круглого толстого заду, и все эти чудные, возбуждающие запахи — крепкий, уютный запах толстой кожи, и запахи бензина и смазки, такие крепкие, и теплые, и острые, что они будто пронизывали восторгом и трепетом все на свете, словно сулили потихоньку что-то странное и чудное, что вот-вот случится и связано с этой ночью, и с тайной, и с радостью жизни, и с восторгом лиловой темноты, как связаны с ними все запахи цветов, и листьев, и земли, и трав.

Вот почему, наверно, я разозлилась, когда полицейский

назвал машину «эта штука», хотя тогда я сама не знала, почему я разозлилась. Полицейский, кажется, всерьез хотел нас задержать, но тут папа встал с колен отца Долана, и когда полицейский увидел отца Долана, он, конечно, тут же сделался шелковый. И мистер Гейтс с ним поговорил и дал ему денег, а папа с ним пошутил и рассмешил его, а потом папа показал ему свой полицейский значок и спросил, знает ли он Джейка Дитца из полицейского управления, и сказал, что он лучший друг Джейка Дитца, и что тут было с полицейским, и я так гордилась!

И он сказал, чтоб мы все отправлялись в Центральный парк подобру-поздорову и катались сколько влезет, но его, мол, самого в такую штуку не затащишь, она же в любой момент может взорваться, и где вы все будете тогда? И папа сказал, мы все будем в раю, и даже со своим собственным священником, и нас примут без бюрократической волокиты, и нам это так понравилось, мы так хохотали, и полицейский хохотал, а потом он стал хвастать своей лошадью. Господи, лошадь у него действительно была прекрасная, и он говорил — нет уж, ему только лошадь подавай, и никогда им не сделать такую штуку, чтобы она бегала быстрее лошади. Бедняжка! Что бы теперь он сказал!

А папа его поддразнивал, он говорил, что настанет время, когда лошадь можно будет увидеть только в зоопарке, а тот ему в ответ, что тогда машину можно будет увидеть только на свалке, и папа сказал: «Мы анахронизмы — вот наша беда». И полицейский сказал — ладно, это не по его части, но он нам желает удачи и надеется, все мы останемся живы.

И он повернул, а мы въехали в Центральный парк, и пропустили на всей скорости, и стали взбираться в гору, и тут-то мы и сломались, точно как предсказывал полицейский. Я думаю, молодой человек слишком много выпил, он дико был возбужден, во всяком случае, мы увидели на горе впереди нас пролетку, и он крикнул: «Внимание, сейчас я их обгоню!» — и что-то такое сделал машине, и как раз когда мы их догнали и хотели обогнать, она закашлялась, захлебнулась и стала. Ох, мы слышали, как те, в пролетке, хохотали,

и один оглянулся и нам что-то крикнул насчет зайца и черепахи. И я так на них сердилась, мне так было обидно, так жалко нашего шофера, а папа сказал:

— Ничего, сынок, не вечно же проворным успешный бег*, повезет когда-то и зайцу.

Но наш молодой человек до того приуныл, что слова не мог из себя выдавить. Вышел из машины, кружил, кружил, а потом стал нам объяснять, отчего это случилось и что это, мол, раз в сто лет случается. Дело, видите ли, в том-то, дело, видите ли, в сем, а мы ни слова у него не понимали, но мы его жалели и ему поддакивали. А потом он стал ковыряться в машине, то одно повернет, то другое покрутит, схватил заводную ручку и ну ее вертеть, вертеть, я прямо боялась, он плечо себе вывихнет. А то ляжет на спину, подлезет под машину и лупит ее из-под низу кулаками. И все без толку. Вылезет опять, кружит, кружит возле машины, что-то себе под нос бормочет. В конце концов он сдался, сказал, что нам придется выйти из машины и взять извозчика, если мы не хотим добираться домой пешком. И мы стали выходить, а механик так злился, так ему было неудобно из-за непонятного поведения своей машины, что он даже взял и тряханул ее, как непослушное дитя. И все без толку.

И он сделал последнюю попытку. Схватил ручку и давай крутить как сумасшедший, крутил, крутил до потери сознания. Но все было без толку, и вдруг он как заорет: «Ах ты сволочь», и как пнет ее изо всей силы по шине, и рухнул на радиатор и зарыдал, будто у него сейчас сердце разорвется. И уж не знаю, какая тут связь и как это получилось, но вдруг она снова запыхтела, засопела, и вот нам снова можно ехать, а на лице у молодого человека улыбка до ушей.

И мы одолели эту гору и скатились со следующей, и теперь уж мы действительно летели. Мы будто парили в воздухе, будто вдруг у нас оказались крылья, просто мы про них раньше не знали. Мы будто всегда знали, что так бывает, и все

* Перефразированный Екклесиаст, 9, 11.

это нам снилось, а вот теперь вдруг сбылось. Мы, наверно, исколесили парк из конца в конец, но мы даже не помнили, где мы, куда несемся. Мы летели, как летаешь во сне, и вот, как во сне, когда чего-то ждешь и оно сбывается, мы рванули из-за поворота и увидели впереди ту самую пролетку, которую хотели обогнать на горе. И как я увидела ее, я в ту же секунду поняла, что так и будет, это прямо невероятно, чересчур даже хорошо, но я все равно знала, всегда знала, что именно так и будет. И со всеми нами было то же самое, и мы оглянулись и взвыли от хохота, мы стонали, махали руками тем, в пролетке, мы пронеслись мимо них, будто они вросли в землю, а папа повернулся и крикнул:

— Ничего, друзья, не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет!*

И мы обогнали их, мы их оставили далеко позади, и они исчезли. И вот уже нет ничего — только ночь, ослепительные звезды, лиловая темнота в парке и — господи! Какая прелесть! Было самое начало мая, распускались все листики и почки, все пушистое такое, нежное, а в небе тоненькая стружка месяца, и так прохладно было, так чудно, и запах листьев, и новой травы, и цветы лезли из земли, так что даже слышно было, как они растут, — никогда еще мне не было так хорошо, и я посмотрела на отца, и у него в глазах стояли слезы, и он крикнул: «Благодать! О! Благодать!» — и потом начал своим невероятным голосом:

— «Какое чудо природы человек! Как благороден разумом! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках как близок к ангелу! В воззреньях как близок к богу!»**

Совершенно волшебные слова, и какая музыка, и мне захотелось плакать, и когда он кончил и еще раз крикнул «Благодать», я увидела в темноте его неистовое, прекрасное лицо, и я подняла глаза к небу, к печальным, невероятным звездам, и какая-то тень судьбы была над его головой, в его глазах, и вдруг, глядя на него, я поняла, что он скоро умрет.

* Джон Мильтон. «О слепоте», пер. С. Маршака.

** «Гамлет», акт II, сц. 2, пер. Б. Пастернака.

И он кричал «Благодать! Благодать!», и мы летели, летели сквозь ночь, снова, снова по всему парку, а потом светало и все птицы начали петь. Вот птичья песня ворвалась в рассвет, и вдруг я различила каждый звук птичьей песни. Это было как музыка, которую я слышала всегда, как музыка, которую я всегда знала, только никогда не говорила про ее звуки, а теперь я различала музыку каждого звука, ясную, яркую, золотую, и вот какая она была, эта музыка каждого звука: сперва она рассыпалась надо мною очередью выстрелов, а потом быстрыми, звонкими шлепками. И вот звуки стали нежными, мягкими каплями золота, слитками яркого золота, а потом, чирикавая, пререкаясь, шурша, журча, полился блажной, медовый птичий грай. И запело птичье дерево, сплошными лютнями на свету, и бреньк, треньк, цокот, и глупенький, тоненький стрекот — все слилось, потекло — лютенный мед, лирное миро, пушистая, мягкая теплота. И я различала быстрый-быстрый чик-чирик — чик-чик птах поскромнее, их уютное пи-пи-пи, а другие строчили воздух звонкими, четкими стежками, рвали резким карканьем, резали острыми дальними кликами — вот как кричали все птицы. Все птицы, которые проснулись в зарослях парка. А над ними в вышине плавал шелест невидимых крыл, странный потерянный крик неведомых птиц в совсем уже светлом парке, и все смешалось так сладко. «Мне сладостны: и утра первый вздох, и первый свет, и ранний щебет птах...»* Да, именно, вот уж поистине, и встало солнце, и это было как в первый день творенья, и это было за год до того, как он умер, и мы, кажется, жили тогда у Беллы, а может, в старой гостинице, хотя, наверно, мы уже переехали к тете Кейт,— мы так часто переезжали, где только мы не жили, и все это кажется так давно, и как начинаю про это думать, все путается у меня в голове и я ничего не могу вспомнить.

* Джон Мильтон. «Потерянный рай». Кн. IV, пер. А. Штейнберга.

Лев утром

Было утро, сияющее утро, яркие пылинки утра плясали в майском луче, и вот Джеймс проснулся. Старик в просторной комнате огромного дома в районе Восточных Семидесятих у Центрального парка. Небольшого роста, жилистый, яркоглазый человек в огромной спальне одного из тех отвратительно роскошных, приторно разукрашенных, возведенных из белого известняка, облицованных мрамором и увенчанных мансардными крышами псевдофранцузских шато, каковые во множестве строились лет сорок или пятьдесят назад, когда какой-нибудь богач лез вон из кожи, чтобы угодить жене. Но год теперь был тысяча девятьсот двадцать девятый, месяц май, сияло утро, и вот Джеймс проснулся.

Проснулся он так же, как все всегда делал: очень отчетливо, внезапно и напористо, с некоей бескомпромиссной агрессивностью. Не в его обычае было шутки шутить с дремотой: раз уж он со сном разделался, он с ним разделался. Он любил комфорт и во всем все самое лучшее, но ненавидел мягкотелость, лень и жалкую нерешительность. Всему отводилось должное время и место — время для работы, время для спорта, для путешествий, удовольствий и светской жизни; время для хорошего обеда, для бренди и доброй сигары; и как завершение всему — время для сна. Джеймс всегда знал, когда и чему наступает время.

Ибо если что-то закончено, то оно закончено. Это касалось сна в той же мере, что и всякого другого полезного и приятного дела в жизни Джеймса. Восьмичасовой долг сну и темноте он уплатил сполна, и дело с концом. Со сном он расплатился так же, как подписал бы чек: отчетливо, ясно, решительно.

тельно, с окончательным росчерком пера:

«Предъявителю сего *Сну* уплатить

8 (восемь) час. + 0 (ноль) % %

Джеймс Уаймэн-старший (подпись)».

Вот, пожалуйста, сэръ! Надеюсь, все в порядке? Отлично! Стало быть, кончено! А это еще что? Нет, глупости в сторону, хватит, хватит, пожалуйста — никакого чтобы дремотного позевывания, никаких этих уютных потягушечек, переворачиваний на другой бок и бормотанья всякой бессмыслицы вроде «ну еще пять минуточек» или прочей какой-нибудь чепухи! И вся эта ерундистика со «страживанием с себя паутины сна» и «протираанием слипающихся глаз», с «обрыванием последних цепких нитей дремы», с попытками пробудиться, вынырнуть, уяснить, где ты и что ты, — нет, ни к чему! Проснуться разом! Вынырнуть четко! Разделаться со всем этим в тот же миг, когда твои глаза открылись! Встать и приниматься за дело: день начинается, ночь кончилась, время для сна прошло!

Джеймс просыпался именно так. Ростом он был невелик, жилистый, семидесяти четырех лет, с холодным лицом воителя. Его лицо не было грубым, никоим образом оно не было жестоким, свирепым или гневливым — нет, в целом это было довольно приятное лицо, явно решительное и столь же явно воинственное.

Это было очень значительное лицо — оживленное, резко очерченное и довольно суровое. Глаза были очень голубыми, взгляд строгий, прямой и холодный как сталь. Серые волосы коротко подстрижены, так же как и усы. Нос длинный, холодной и точной лепки, и все строение лица — слегка впалое, а уголки жестких прямых губ непрестанно таили едва заметный, никогда с них не сходящий намек на усмешку — усмешку достаточно незлобивую, однако при этом бесстрастную, жесткую, холодную, изначально язвительную. Это было лицо человека, ненавидящего страх и презирающего боящихся, человека, способного с уважением смотреть в лицо другому — тому, кто этот взгляд возвратит бестрепетно, с пожеланием проваливать ко всем чертям, — и ни

во что не ставящего тех, чье лицо дрогнет и взгляд скользнет в сторону под напором этой холодной стали; человек с таким лицом может быть бешеным, безжалостным, беспощадным к тому, что для него презренно и ненавистно; может быть надменным, черствым, нетерпимым и подчас несправедливым; но человек с таким лицом не может быть подлым.

Мгновение Джеймс полежал неподвижно, оставив в потолок взгляд широко раскрытых, совсем уже не сонных холодных голубых глаз. Потом поглядел на часы. Несколько минут недоставало до восьми — в этот час он назначил себе вставать и вставал неукоснительно каждое утро последние пятьдесят лет, если он в городе. За городом он по будням вставал на час с четвертью раньше. Пошарив за пазухой ночной рубашки, он задумчиво почесал волосатую грудь. Всегда, всю жизнь он спал в ночной рубашке, как было прежде заведено у его отца и как должно быть в обычае у каждого нормального человека. Неудобств, доставляемых одеждой за деловой день, с него и так хватало. Ложась в кровать, он не станет натягивать идиотский клоунский костюм, сплошь разукрашенный яркими зелеными полосками, перевязывать себя поперек живота веревкой на манер мешка с мукой и запихивать ноги в штанины. Нет! Штаны уместны на улице и в конторе. В постели человеку требуется для живота и ног свободное пространство, и как можно больше.

Рывком он сел, ввинтился пальцами ног в шлепанцы, поднялся, пересек комнату и стал у окна, глядя на улицу. На миг почувствовал головокружение, его ясное сознание слегка затуманилось, колени ослабли, он нетерпеливо встряхнулся и глубоко вздохнул; откинул тяжелые рубчатые шторы как можно дальше в стороны, пошире отворил окно. Сердце тяжело колотилось; морщинки в углах твердых губ, обозначающие тонкую, жесткую усмешку, углубились. Семьдесят четыре! Допустим, ну так что? Еще с минуту он постоял, все так же держась за тяжелую штору перевитой венами старой рукой и продолжая глядеть на улицу. Там двигались какие-то люди, их было немного. Через улицу,

в большом облицованном мрамором особняке, похожем на его собственный, служанка, стоя на коленях, мыла мраморные ступени. Шаткого вида фургон, запряженный косматой лошадежкой, с тарактеньем проехал мимо. Поодаль, в шести подъездах от него, в утреннюю тишь Пятой авеню врезался гудок промчавшегося таксомотора, а дальше взору старика открывались деревья и кусты Центрального парка, едва начинающие зеленеть по-майски. Да и здесь, на его улице, перед отвратительными, приторно роскошными домами стояли кое-какие деревца, осыпанные проблесками молодой зелени. По всей улице с фасадов зданий наискось било яркое сияние утра, а из нежной, живительной зелени подрастающих деревьев вздымалась птичья песнь.

«Что ж, замечательное утро,— подумал Джеймс.— Вдобавок от природы, мая и солнечных лучей оно позаимствовало даже чересчур приятную раскраску для столь отвратительной улицы». Это была типичная улица богачей в районе Восточных Семидесятых — нелепая мешанина претенциозной архитектуры. Неприкрытая угрюмость и прочное уродство коричневых песчаниковых особняков там и сям перемежались приторной роскошью псевдофранцузских шато вроде его собственного, а посреди квартала, рядом с кирпичным, цвета копченой семги, фасадом, торчала по-новомодному плоская стена недавно построенного многоквартирного дома с зелеными тентами витрин.

Джеймс обернулся, все с той же мрачноватой усмешкой. В утренней тишине из холла донесся басовитый гул высоких напольных часов, отбивающих восемь, и с последним ударом ручка огромной ореховой двери повернулась, вошел слуга.

— Доброе утро,— тихим голосом произнес вошедший. «Доброе, доброе»,— хрипло буркнул Джеймс и без лишних слов прошествовал в ванную, где сразу же принялся громко спускать воду в унитазе, потом вымыл руки в старой мраморной с прожилками раковине, на всю мощь открутил воду в брызжущем кране и, пока наполнялась старомодная желтоватая под слоновою кость ванна, оглядел себя в зеркале,

склоняя голову и задумчиво поглаживая ладонью колючую, как проволока, серую стерню на подбородке. Достал из шкафчика принадлежности для бритья, по порядку разложил их, энергично направил свою старую опасную бритву, удовлетворенно пощупал смертоносно отточенное лезвие, снял через голову ночную рубаху, перелез в ванну и со всей осторожностью, довольно побряхтывая, опустил в воду.

Принять ванну и обтереться заняло у него четыре минуты и еще не более шести — намылить лицо и, осторожно избочившись, сбрить жесткую серую стерню, достигнув гладкости полированного дерева. К тому времени, когда он с этим управился, с горделивой нежностью ополоснул свою старую, износившуюся бритву и убрал на место принадлежности для бритья, было десять минут девятого.

Когда он в халате возвратился в спальню, слуга как раз закончил раскладывать для него одежду. Из старого, похожего на бюро орехового комода вынул носки, свежее белье, чистую рубашку, запонки и воротничок; из огромного орехового гардероба достал костюм темного сукна, черный галстук и пару ботинок. В своей комнате Джеймс не потерпел бы в качестве мебели «всякого этого шик-модерна». Под этим он подразумевал, что не потерпит ни укоренившегося в недавние годы модерна, ни любовно воскрешаемого колониального стиля. Обстановка его спальни состояла из предметов массивных, викторианских, много лет назад перекочевавших сюда из спальни его отца. Пугающе огромный, похожий на бюро старый комод был снабжен продолговатым зеркалом в резной, вытянутой ввысь деревянной раме с фронтоном, а также плитой мрамора в серых прожилках — исцарапанная ее впадина располагалась между двух крошечных ящичков, выполненных в виде сундуков (бог знает, для какой надобности они были задуманы, но вероятнее всего хранить пуговицы, кнопки для крепления воротничков, запонки, воротнички и всякую прочую, как Джеймс говорил, «барахлюндию»); пониже имелось несколько громоздких ореховых ящичков с медными ручками — там лежали его носки, рубашки, нижнее белье и ночные рубахи. Этот огромный оре-

ховый комод высотой был по меньшей мере метра три; а рядом стоял чудовищный ореховый стол с толстыми резными ножками и столешницей из того же жуткого полосатосерого мрамора, что и плита комода.

Прошествовав через комнату к стоящему рядом с кроватью креслу, Джеймс сбросил халат и, слегка побряхтывая и опираясь для равновесия на плечо слуги, просунул сперва одну шерстистую ногу, потом другую в длинные трусы из тонкой фланельки, застегнул на волосатой груди легкую фланелевую исподнюю сорочку, натянул белую крахмальную рубашку и, застегнув ее, скрепив крахмальные манжеты запонками, огляделся в поисках брюк, которые слуга уже держал наготове, но вдруг передумал и сказал:

— Погодите-ка! Где-то был тот серый костюм — тот, что у меня с прошлого года? Пожалуй, надену-ка я его сегодня.

Глаза слуги стали испуганными, в его тихом голосе прозвучало едва заметное удивление:

— Тот *серый*, сэр?

— Я сказал *серый* — или нет? — жестко произнес Джеймс и глянул на слугу с неприкрытым вызовом в холодных голубых глазах.

— Очень хорошо, сэр, — тихо ответил слуга, но на мгновение их глаза встретились, и хотя лица обоих были серьезны — разве что Джеймс позволил своему стать чуточку мрачнее и язвительней, — в глазах у каждого сверкнул какой-то резкий, жгучий промельк, что-то капризное, но обошедшее без слов, потому что слова были не нужны.

Серьезно, невозмутимо слуга подошел к дверцам огромного орехового гардероба, отворил их и вытащил изящный двубортный костюм светло-серого цвета — нарочито веселенького и легкомысленного для Джеймса, чьи облачения обычно бывали выдержаны в темных, сдержанных тонах. По-прежнему невозмутимо слуга вернулся, разложил пиджак, протянул своему господину брюки и с серьезностью придерживал концы штанин, тогда как Джеймс с кряхтением осторожно в них просовывал ноги. Больше слуга не произнес ни слова, пока Джеймс не захлестнул подтяжками свои

прямые плечи и не начал застегивать пуговицы жилета.

— А галстук, сэр? — озабоченно произнес слуга. — Я полагаю, вы ведь не наденете черный?

— Нет, — отозвался Джеймс, а затем, мгновение поколебавшись, задиристо глянул тому прямо в глаза и сказал: — Дайте мне какой-нибудь светленький — чтобы под стать был этому костюму, — посветлее что-нибудь.

— Да, сэр, — спокойно отвечал слуга; и снова глаза их встретились — лица серьезные и строгие, но в глазах опять тот же тайный, жгучий промельк понимания.

И только когда Джеймс уже аккуратно вывязывал под стоячим, с отогнутыми уголками, воротничком узел явственно модного галстука, светло-серый, весенний цвет которого щегольски прорезывали черные полосы, слуга улучил момент, чтобы ненавязчиво обронить:

— Прекрасное утро, не так ли, сэр?

— Так! Верно! — твердо и мрачно отрубил Джеймс и снова язвительно глянул на слугу; но опять в их глазах промелькнули жгучие искорки, и тот тихо улыбнулся за спиной у своего господина, когда Джеймс, принаряженный, выходил из комнаты.

Холл, куда отворялась дверь спальни — усталый мягким, глушащим шага, — был полон тяжелой тьмы; все в нем недвижно, все окутано тишиной и сном, наполнено ореховыми отсветами и медленным тиканьем часов.

Взгляд Джеймса скользнул туда, где была дверь в спальню жены. Сама огромная ореховая дверь как бы тоже была красноречивым символом тишины, сна, нерушимого покоя. Джеймс мрачно улыбнулся и пошел вниз по роскошным мраморным ступеням. Они спускались величавой дугой, словно все еще слышалась им призрачная поступь памяти — в шуршании шелка и атласа, в сиянии и блеске драгоценных диадем, строгих бриллиантовых коле, жемчужных ожерелий, турнюров, обнаженных плеч.

Он снова мрачно улыбнулся своим мыслям, почувствовав раздражение. *Проклятый старый сарай!* Из обширного

вестибюля внизу он бросил взгляд на пышное великолепие приемной залы: красный ковер, бархатисто пружинящий под ногами; пухлые плюшевые кресла со спинками под золото и золочеными подлокотниками; прямоспинные хрупкие стульчики, золотистые, с выцветшей атласной обивкой — уродливые и страшно неудобные; гигантские зеркала в золоченых рамах, тоже слегка потускневших; настольные французские часы — сплошь пухленькие золоченые купидончики и завитушки, барахлюндия; чертовски некрасивые столики, шкафчики, стеклянные шкатулки, в которых опять уйма всякой барахлюндии, безделушек, фарфоровых статуэток, вазочек, пухлых золоченых купидончиков.

Хлам!

Что ж, это им как раз и было нужно сорок лет назад — во всяком случае, они *думали*, что им это нужно — то есть женщинам нужно — *ей* нужно. Вот он этим ее и обеспечил! Он-то и тогда ненавидел все это. Бывало, он частенько повторял, мрачней, что на весь проклятуший дом единственное уютное помещение — его ванная, а единственное удобное сиденье — стульчак. В прошлом году они и *там* пытались все переделать, но он не позволил.

Что до всего остального — разве это дом! Скорее какое-то подобие мерзлого мавзолея для сохранения бранных останков того, что когда-то принято было называть «светским обществом». С этой целью он и был выстроен сорок лет назад, когда еще всюю играли в эти игры и когда каждый силился превзойти соседа в уродливой вульгарности и претенциозной роскоши — в надсадном расточительстве, в слепом заносчивом разгуле опустошительных трат.

Для этого он, без сомнения, послужил неплохо! Джеймсу он обошелся в четверть миллиона долларов, однако сомнительно, чтобы за него теперь удалось получить сотню тысяч, если завтра выставить на продажу. Кстати, попробуй-ка этот чертов сарай нагреть! А что теперь? А потом, в будущем? Впрочем, *она* переживет его. Пэрроты всегда жили дольше Уаймэнов. И что будет? Тут не надо даже умирать и попадать на небеса, чтобы найти ответ! Сперва она попы-

тается повернуть все по-своему, а потом до нее дойдет! Ведь это уже будут *ее* деньги — она начнет всем распоряжаться, и тут до нее дойдет! Пригласит разик-другой гостей, попытается закатить прием, как встарь, на широкую ногу, с потугами воскресить все это диадемство и ожерельничанье, и обнаружит, что диадемство навеки умерло!

Залучит к себе трех-четыре старых фурий с тощими шеями и костлявыми руками в коросте драгоценностей; нескольких старых трясущихся болванов со скрипучими суставами и шепелявыми вставными челюстями — а все для того, чтобы воскресить призрак напыщенной миссис Астор! Залучит к себе парочку пришедших по непререкаемому повелению бабушки мучительно скучающих молодых людей, единственная светлая мечта которых будет состоять в том, чтобы над ними поскорее прекратили издеваться и они могли бы наконец под благовидным предлогом сбежать из этого морга туда, где порхающая музыка, где шум, где танцуют и пьют, — и вот тут до нее дойдет!

С мрачным удовлетворением он даже вообразил, будто у него в ушах стоит *ее* болезненный вскрик, когда она увидела счета и обнаружила, что теперь приходится тратить *ее* деньги и что деньги не растут на деревьях, а если растут, то теперь это *ее* собственное дерево, дерево Пэрротов.

Совсем другое дело, не правда ли? Ведь Пэрроты, как под-сказала ему тотчас же язвительная память, были известны именно той хлопотливой нежностью, которая обурекает их, едва лишь дело коснется ухода за их фамильным древом — будь то генеалогическое древо или денежное. Ее отец — надутый старый дурак! — последние двадцать лет своей жизни убил на то, чтобы писать единственную книгу. И какую! «История семьи Пэрротов и традиции Новой Англии». Великий боже, где и когда еще в веках было слыхано о подобной спесивой тарабарщине?! А ему — Джеймсу Уаймэну-старшему — пришлось к тому же упрашивать одного из своих издательских знакомых, чтобы эту чертову дребедень напечатали, а после — хочешь не хочешь — сноси издевки, колкости и всяческие остроты в свой адрес от приятелей

по клубу, иначе будешь выслушивать стенания Пэрротов. Из двух зол он выбрал, пожалуй, меньшее. Краткий миг осмеяния, как он решил для себя, вынести все-таки легче, чем долгую пытку; глупая книжонка скоро забудется, а женский язык поди еще попробуй усмири.

«Что ж, сама все поймет»,— подумал он и сумрачно помедлил, топчась на мраморных плитах вестибюля и мрачно поглядывая на выцветшее великолепие большой залы. Казалось, он своими глазами уже видел мучительный и непреложный ход событий: вскрик удивления и боли, когда она увидит счета — хотя бы только счет за уголь — за все эти десятитонные грузовики, вагоны, баржи, железнодорожные составы высокосортного каменного угля, которых едва хватает, чтобы могильную сырость в этом проклятушем склепе с октября по май удерживать от замерзания. А всякие смотрители, сторожа, экономки, без которых не обойдешься, если хочешь, чтобы все было в сохранности, в исправности, чтобы не было пыли,— а это уже с мая по октябрь, когда хозяев даже и вовсе дома не бывает! Как будто кто-то так и норовит походя сунуть весь этот мавзолей в карман! А хорошо бы и впрямь собрали бы какой-нибудь парламент, что ли,— из озабоченных общественным благодеянием обитателей задних дворов, из динамитчиков, «медвежатников», рыцарей чердака и подвала, из немудрящих садово-парковых грабителей и элегантных налетчиков в шелковых цилиндрах,— да чтобы на секретной ассамблее они всемилоливо и добросердечно пришли бы к общему решению нагряться, обшарить, захватить и утащить все, что попадет под руку, пока хозяева в отъезде; этак ночью понаехали бы в пятитонных грузовиках, бронированных автомобилях, на юрких легковушках — да что там, на любом колесном транспорте, какой им только под руку попадет: мебельные подводы, тачки, крытые фургоны...— и утащили бы всю эту мерзость с глаз долой: все эти чертовы плюшевые кресла и золоченые настольные часы; все эти вазочки, статуэтки и безделушки; весь расписной фарфор, пурпурные ковры, агонизирующие стульчики и жуткие столики; всю эту дре-

бедень и барахлюндию, внушительные полки нечитанных книг и дурно исполненные портреты предков, вплоть до жутко намалеванного Пэррота-старшего, автора пресловутых «Традиций Новой Англии», — вот дурень-то! — и покуда бы они всем этим занимались, заодно разделались бы с домоуправителями, зрителями и сторожами — кляп, хлороформ, эфир, — и подальше их, в забвение, и...

— Завтракать подано, сэр!

При звуках тихого, вкрадчиво пришепывающего, умильно-благовоспитанного, сочащегося елеем и патокой голоса Джеймса передернуло, как от удара электрическим током. Он вздрогнул и, обернувшись, мрачно уставился на угодливую, сальную физиономию своего дворецкого, мистера Уоррена.

...и что еще? — ах да, конечно же, в первую очередь хорошо бы какая-нибудь любезномудрая шайка похитителей на веки вечные избавила его слух, зрение и память от гнусного присутствия в их пределах надутой фигуры велеречивого Старого Подлизы...

— Иду, — отрывисто бросил Джеймс.

— Весьма признателен, сэр, — ответил Подлиза с удручающей угодливостью. Затем дворецкий величественно развернулся и пошел по коридору; он удалялся важно, развальной походкой, качая бедрами, перекатывая толстенькими, жирными ягодицами и подрагивая вспученными, непристойно чувственными икрами; шел как какая-нибудь отвратная жирная старуха — точь-в-точь, с его масляными щеками и пухлыми губами, сложенными в гримаску жеманного благолепия...

...да уж, убрать бы этого Подлизу куда подальше! Как было бы отрадно сбыть его каким-нибудь великодушно-всеприемлющим разбойникам! Как свободно, легко почувствовал бы себя он — Джеймс Уаймэн-старший, когда бы из его жизни исчез Старый Подлиза, эта жирная тюлениха, и хоть минутку можно было бы в своем собственном доме побыть наедине с самим собой без того, чтобы кто-то был ему «весьма признателен, сэр», хоть на мгновение отдохнуть

и расслабиться без «позвольте вас побеспокоить, сэр», привольно сесть на свое исконное место за столом и самостоятельно поесть, не ощущая на затылке гадостно-влажного дыхания Старого Подлизы, поесть по собственному вкусу и аппетиту, не вдаваясь в тонкости этикета, без оглядки на этот неодобрительно вопрошающий рыбий глаз и не впадая в ярость от непрерывного «позвольте помочь вам, сэр».

Как было бы прекрасно, если бы он — Джеймс Уаймэн-старший — белый, свободный и уж куда как совершеннолетний (семьдесят четыре все-таки! — полноправный американский гражданин, бог свидетель!) — мог бродить там, где вздумается, садиться, где придется, есть то, что хочется, и вообще делать все, что пожелает и что не возбраняется делать свободному человеку, и чтобы при этом все действия, занятия и отправления его личной и даже интимной жизни не были обречены постоянному надзору идиота! Он устал; он болен и знает это; он становится угрюм и капризен, да, он все это понимает, но — боже мой! господи боже мой! — он старый человек, ну неужели нельзя оставить его в покое! Он видел все и все уже изведal: вдавался во все вопросы и нашел все ответы, совершил все, что следовало совершить,— все, что хотели от него жизнь, время, жена, родственники, свет, даже это, но — боже мой! — зачем, зачем? Стоило ли? Он снова обратился взглядом к выцветшему великолепию большой залы, и на мгновение его холодные голубые глаза затуманила пелена непонимания и сомнений. Ему нужен был дом, чтобы в нем жить,— не так ли? — то есть место, где тепло, светло, где бы он чувствовал себя любимым и защищенным,— и ведь у него были все основания претендовать на это, не правда ли? — богатство, ум, смелость, воля... а в результате — вот это? Где-то он каким-то образом промахнулся в жизни, что-то он упустил. Но где? И что? В чем и где он потерпел неудачу?

В свою эпоху и в своем поколении он был человеком незаурядным — незаурядным не только по достигнутому положению, но незаурядным по силе характера, честности, цельности натуры и неподкупности, притом что вокруг кишмя

кишели бездушные янки, руки которых полны мздоимства. В свою эпоху и в своем поколении он был в числе лучших. Много сегодня в Америке выдающихся имен — выдающихся благодаря богатству и власти, жестокостью вознесенных на головокружительную высоту. И он-то знает, какую грязью и позором запятнано большинство этих имен, ибо люди, носившие их, безжалостно попирали все человеческое, губили своих ближних, бесстыдно предавали человечество и свою страну. Зловонием станут эти имена в ноздрях будущих поколений, срамом и поношением падут на детей и внуков, которым выпадет несчастье их унаследовать; тогда как его имя — он это знает — блещет ликующей чистотой, и ни пятна позорной гнили на нем не сыщешь. И все-таки что-то не так! Где? Что?

Он не был нытиком; храбрый мужчина, воитель, он понимал, что в чем бы ни был промах, не звезды, милый Брут, а сами мы виновны!* Однако (и все так же взгляд Джеймса растерянно и мрачно скользил по выцветшему великолепию большой залы) вот ведь до чего дошла его жизнь! А в чем причина? В чем? В чем?

Что, разве все пошло прахом? Да нет же! Тяжек был труд, но велики плоды его. Дружба была верной, и истинной душевная привязанность; короли и президенты выказывали ему доверие и признательность, он снискал уважение государственных деятелей и людей пера, крупных промышленников и таких же, как сам он, ведущих банкиров и финансистов.

Ни перед кем не отступал он к своему бесчестию; перед многими отступал ради честности переговоров — снисходительный и щедрый, покладистый и великодушный. Он бился жестоко, когда все обращалось против него, и становился податливым, когда побеждал. В схватке он бил плеча, но никогда чужое поражение не становилось для него торжеством.

Нет-нет, чиста была страница прегрешений, и не замутне-

* У. Шекспир. «Юлий Цезарь» (акт I, сц. 2). «...Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны в том, что сделались рабами» (пер. М. Зенкевича).

но зеркало, а все-таки итог всему — вот это. Старик с состарившейся женой, в состарившемся могильнике собственного дома — один.

По-стариковски озадаченно Джеймс наблюдал, как выцветает позолота утра. Куда же все ушло — где страсть, где пламень, где ликующая песнь юного сердца; где все, чему он поклонялся, во что он верил, на что полсотни лет назад так трепетно надеялся? Куда все это делось — мощь, вера, мудрость, нерушимое здоровье и самый дух его утраченной Америки? Неужто это были только сонные грезы? Но нет, не грезы: ведь «не давал он сна глазам своим и дремания веждам своим», — а если грезы, то ради таких именно грез люди и прожили тьму веков — провидеть, возмечтать и достигнуть. Но где теперь все это?

Ушло, развеялось — подобно призрачным извивам дыма, и вот живую, яркую реальность этих бессмертных грез поглотил распад. Огромный мир вокруг стал теперь черным хаосом, вдруг порождающим лишь выбросы тупой, бесцельной силы; помрачение расползлось по земле; миллионом воплей воздымают плач сотни наречий, но, несхожие, не приемлют они друг от друга вразумления; там беззакония венчаются славой, здесь притеснения возводятся на трон. Где шла когда-то кропотливая и многотрудная работа честного сомнения, где сквозь тревогу и смятение проглядывала сильная вера, теперь усмеваются в покорном всеприятии, пакостно кривят безвольные губы в немощном посмеянии — поверженные и обесчещенные, подло вышучивают собственное безверие и предательство, — сердца, заплывшие жиром, не пригодные для битвы, головы одуревшие, затуманенные, не пригодные для истины, на помутившихся глазах пелена пошлой издевки. Вот шевельнулось глумливое многоязычие, но выступила лишь капля слабенького яда: «Ну, а вы что предложите?» — и снова неподвижность, растленная сплоченность в защиту собственного позора и трусости — в восторженном уничтожении все ползают на коленях у ног своих же изменников, в бесстыжем поклонении своим же чудовищам согнуты все спины, все раболепствуют, покорные богам

мамоны и всякого непотребства, все склоняются припасть к кровавой руке красильщика, когда на них самих печатью несмываемой легло его проклятье*. И вот утраченная Америка прогнила на корню. Теперь уж все ушло — вера и юность, утро и любовь; ни песен, ни драгоценных грез: исчезли подобно призрачным извивам дыма, а в итоге — вот это!

Но ведь в этом итоге отчасти и причина тоже! Ибо разве не предал он в какой-то миг себя сам? Но когда? Когда? Когда? Где тот час, то мгновенье, та точка кризисного поворота — где?

Разве не сам он — Джеймс Уаймэн, такой, каким он был полсотни лет назад, тот юный, и храбрый, и верный идеалам Америки, полный сил, слышавший пение, тот, видевший горы и реки и наблюдавший степные пастбища, глядевший в спокойную голубизну глаз фермера-поденщика, тот, кому дано было слышать голоса, говорящие в темноте, познать землю и форму вещей и уразуметь, что грезы это нечто большее чем грезы, что великая надежда это больше чем просто надежда, разве не сам он, Джеймс Уаймэн, который видел, слышал и знал все это, как некогда знали все в этой стране, разве не предал он себя сам где-то в пути? — взяв то, что у других нашлось для него, поверив в то, что другим нашлось сказать ему, примирившись с тем, что у них нашлось ему предложить? И что же ему досталось? Диадемство и ожерельничанье, вульгарный и пустой спектакль, назойливая претенциозность шутов, рядящихся аристократами, свиное чревоугодие борова, красующегося без году неделя как приобретенным фамильным гербом, да еще досталась заповедь, будто деньги не пахнут, и вот в тех же гордячках, что надменно воротят нос при виде неловких застольных манер, вдруг воспитания и утонченности оказывается не слишком-то и много, когда представится возможность снисходительно подставить ладонку под то, что,

* Перефразированы строки III сонета Шекспира: «...Красильщик скрыть не может ремесло.//Так на меня проклятое занятье//печатью несмываемой легло.//О, помоги мне смыть мое проклятье» (пер. С. Маршак).

кряхтя и тужась, выжмет в нее какой-нибудь негодяй из тучного своего банковского счета.

Да, вот с чем он примирился, дал себя уговорить, поверил; или, поверив, что поверил, изменил себе на путях своих в юности — и вот к чему пришел: состарившийся, с состарившейся женой, в состарившемся могильнике дома — один.

И, мрачно поглядев на выцветающую позолоту утра в большой зале, Джеймс подумал, что вот даже утро остается за порогом, ему не войти сюда. Нет, ничто молодое и нежное, ничто свежее и живое не способно существовать здесь. Даже свет, хрустальное сияние света весны, утра и мая становится здесь тусклым, мертвенным. Сквозь пыль и неподатливые складки плюшевых штор он еле пробивается, сочится слабыми, полными оседающего праха смутными проблесками, и вот он уже стар и мертв, не успев проникнуть сюда, — как этот плюш, как позолота, как ковры, и стулья, и столы, безделушки и завитушки, как вся эта барахлюндия — такой же затхлый, тусклый, безжизненный, как все те вещи, на которые он падает.

О нет, к тому моменту, когда он проложит мучительный свой путь в эту комнату, от свежести утра в нем ничего уже не останется. Скорее, подумалось Джеймсу, если уж утро, то Утро Завершающего Похмелья — что-то вроде... вроде... Похмелья После Бала.

Весь этот дом, думалось Джеймсу, — сплошное утро после бала. И таким он был всегда. «После Бала... — подумал Джеймс, — что ж, замечательный девиз для этого проклятого склепа: нечто подобное всегда здесь носилось в воздухе». Он так и не стал для него домом, так и не стал местом, куда возвращаешься вечером, чтобы обрести покой и отдых, тепло и уют домашнего очага. Нет, этот дом всегда был лишь холодным мавзолеем скорби по тем, кто был здесь и ушел; огромным, безразличным, величественным и совершенно безжизненным монументом, воздвигнутым в память блистательных светских приемов, один из которых словно бы должен был происходить здесь еще вчера, но почему-то так и не состоялся. А в результате дом стал вместилищем духов

диадемы и ожерельничанья, чванливых и напыщенных в своем ничтожестве; но снисходил ли на него дух домашнего уюта, привычного живого тепла, искреннего радушия? — нет, никогда! Широкие мраморные ступени, лестница, сбегающая величавой дугой, мраморный вестибюль, большая зала — все это каждый раз казалось траурно застывшим, мало-помалу вновь впадающим в косное и печальное запустение, плесневеющую затхлость; покинутое и обезлюдившее, едва затих шорох парчи и шелка, едва померкло сияние люстр, умолкли бархатистые, благовоспитанно приглушенные голоса и серебристый смех, не стало пеннистого шампанского в бокалах, ни диадем, ни жемчугов, ни крахмальных рубашек, ни блистания обнаженных спин и плеч вчерашнего великосветского приема.

Для полноты впечатления не хватало только вереницы подсобных служащих, присланных компанией, помогавшей организовывать празднество, — этак двадцати или тридцати наряженных в дурацкие камзолы коротышек, спящих тудасюда, убирая оставшийся после приема мусор: пустые бутылки из-под шампанского, жестянки от деликатесов, сигарные окурки, — да еще вот, может быть, ковер чтобы был весь в пепле, а с люстр свисали тонкие спиральки цветной бумаги — лохмотья обветшалого веселья.

Джеймс коротко вздохнул, потом резко повернулся и направился по коридору в обеденную залу.

Обеденная зала тоже была пышной и великолепной — и холодной, боже, какой холодной, словно ты ешь в склепе. Эта комната выходила окнами на западную сторону дома, и утреннее солнце еще не пришло сюда. Обширный стол — угрюмая полированная пластина темного дерева; огромный буфет, величественный, словно гроб, — внутри теснится массивное серебро. У одного конца необъятного стола огромный стул с высокой спинкой — угрюмое резное воплощение тьмы, перед ним большая тарелка, огромные, тяжелые нож, вилка и ложка, стройное изящество серебряного кофейника, хрупкая непорочность чашек и блюдец, еще тарелка, при-

крытая щедрым куполом толстеного серебряного колпака — чтобы не остывала, бокал апельсинового сока и толстые, негнущиеся салфетки — чистоты и белоснежности непостижимой.

Джеймс угнездился на стуле — одинокая маленькая фигурка против громады необъятного стола — и стал изучать предложенные яства. Сперва он посмотрел на бокал апельсинового сока, поднял его к губам и, весь передернувшись, поставил обратно. Потом он опасливо приподнял тяжеленный серебряный колпак и заглянул под него: на белом дне глубокой тарелки скромно лежали три тоненьких кусочка черного поджаренного хлеба. Джеймс разжал пальцы, и колпак упал с громоподобным стуком. Появился Подлиза. Джеймс плеснул в чашку коричневой жидкости из кофейника и попробовал; легкое содрогание скривило его губы.

— Что там такое? — спросил он.

— Кофе, сэр, — отозвался Подлиза.

— Кофе? — холодно повторил за ним Джеймс.

— Это новый кофе, — прошептал Подлиза, — в нем нет кофеина.

Джеймс ничего не ответил, но его холодные голубые глаза метали молнии, и, кивнув в сторону прикрытой колпаком тарелки, он спросил опять, все так же бесстрастно:

— А там?

— Ваши гренки, сэр, — прошептал Подлиза.

— Мои — что? — осведомился Джеймс тем же холодным и непреклонным тоном.

— Да, сэр, — шептал Подлиза, — гренки — ваши гренки, без масла, сэр.

— Ну нет, — жестко сказал Джеймс, — тут вы ошибаетесь, может, это и гренки, но не мои — я в жизни не просил кормить меня сухими корками!.. А там что? — не давая опомниться, вновь начал он, дернув головой по направлению к стакану апельсинового сока.

— Ваш фруктовый сок, сэр, — чуть дыша, вымолвил Подлиза.

— Ну нет,— заговорил Джеймс тоном еще более холодным и жестким, чем прежде.— Не мой это сок. Снова вы что-то путаете! Вы что — видели когда-нибудь, чтобы я пил вот это? — Секунды две он не сводил с дворцового пылающих ледяным пламенем глаз. Его душила холодная ярость.— Послушайте,— вдруг в голосе Джеймса зазвучали скрипучие нотки раздражения,— что все это, черт побери, значит? Где мой завтрак? Кажется, это вы сказали мне, что он готов?!

— Я прошу прощения, сэр...— начал Подлиза, с усилием ворочая полными мокрыми губами.

— Он просит прощения, черт! — повысил голос Джеймс; салфетка полетела на пол.— Я не хочу раздавать никаких прощений, я хочу завтракать! Где мой завтрак?

— Да, сэр,— снова вступил Подлиза и нервно облизнул пухлые губы.— Но ведь врач, сэр, диета, которую он прописал, сэр!.. Так мне велела приготовить хозяйка, сэр.

— Чей это завтрак, хотелось бы знать? — не унимался Джеймс.— Мой или вашей хозяйки?

— Разумеется, ваш, сэр,— поспешно согласился Подлиза.

— И кому есть его? — негодуяще настаивал Джеймс.— Мне или вашей хозяйке?

— Ну, вам, сэр! — отвечал Подлиза.— Конечно, сэр!

— Тогда давайте его сюда! — заорал Джеймс.— Живо! Как только мне понадобится чья-либо помощь в выборе того, что я должен есть, я дам вам знать!

— Да, сэр, да, сэр,— шептал Подлиза в полном уже смятении.— Тогда, может быть, пожелаете...

— Вы знаете, что я пожелаю,— орал Джеймс.— Я желаю мой завтрак! Живо! Сейчас же! Быстро!.. Мой обычный завтрак, такой же, как всегда! То, что я ем на завтрак последние сорок лет! То, что ел на завтрак до меня мой отец! То, без чего мужчина не может начать свой рабочий день,— как это было искони, как это есть и будет во веки веков, аминь! — выкрикивал Джеймс.— А именно: тарелку ов-

сянки, четыре ломтика поджаренного хлеба с маслом, яичницу с ветчиной и кофейник кофе — крепкого черного кофе — *настоящего* кофе! Вы меня поняли?

— Д-д-да, сэр,— заикаясь, пробормотал Подлиза.— П-п-прекрасно понял, сэр.

— Тогда нечего мешкать, давайте его сюда!.. Есть в этом доме настоящий кофе?

— Конечно, сэр.

— Тогда несите! — с этими словами Джеймс грохнул кулаком по столу.— Живо! Сейчас же!.. Да поскорее! И так уже в банк опаздываю! — Он поднял со стола сложенную «Таймс» и, злобно рванув зашуршавшие листы, развернул газету.— А эти помои — прочь! — напоследок рявкнул он, указав на отвергнутый завтрак резким кивком головы.— Куда угодно девайте — можете вылить в раковину, но чтобы я это больше не видел! — И снова он принялся свирепо раздирать хрустящие страницы «Таймс».

Внесли кофе, Подлиза налил, и Джеймс совсем собрался было отведать, как вдруг нечто произошло. Он стремительно подался вперед — с чашкой настоящего, полноценного кофе уже у самых губ — и вдруг удивленно хмыкнул, небрежно отставил чашку и пригнулся к столу, жадно схватив газету обеими руками, весь поглощенный чтением. То, что читал он — то захватившее его, целиком завладевшее его вниманием, даже исполнившее его некоторого испуга,— выглядело следующим образом:

АРТИСТКА СУДИТСЯ С ДИРЕКТОРОМ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ, ТРЕБУЯ ПРОЛИТЬ БАЛЬЗАМ НА СЕРДЕЧНУЮ РАНУ

Вчера на стол судьбы мистера Мак-Гонигла легло заявление миссис Маргарет Холл Дэвис, тридцати семи лет, в котором она просит возбудить дело против У.Уэйнрайта Парсонса, пятидесяти восьми лет, обвиняя его в нарушении обещания жениться. Мистер Парсонс широко известен как автор многих книг, трактующих религиозные проблемы,

а в течение последних пятнадцати лет он занимал пост директора церковной школы при фешенебельной епископальной церкви св. Балтазара, в приходском управлении которой состоят такие заметные в Нью-Йорке персоны, как банкир мистер Джеймс Уаймэн-старший, а также...

Премудрый Джеймс тихонько про себя выругался, увидев свое имя притянутым к такому скандалу. Мельком перемахнув через список коллег по приходскому управлению, стал жадно читать дальше:

На квартире при Университетском клубе, где проживает мистер Парсонс, минувшим вечером его не застали. По словам представителей администрации клуба, эти апартаменты он снимал до последнего времени, но три дня назад съехал, не оставив адреса. При упоминании дела, возбужденного миссис Дэвис, опрошенные члены клуба выражали недоумение. Они утверждают, что мистер Парсонс сдержанный и скромный человек, он холост, и никто никогда не слышал о приписываемой ему связи с упомянутой артисткой.

Когда наш корреспондент посетил миссис Дэвис в ее квартире на Риверсайд-Драйв, она с готовностью ответила на его вопросы. Цветущая блондинка в зените зрелой женственности, она сообщила, что в прошлом была одной из участниц «Варьете Зигфельда», а впоследствии стала актрисой музыкальной комедии. Она говорит, что познакомилась с престарелым мистером Парсонсом два года назад, поехав на выходные в Атлантик-Сити. Их отношения, как она утверждает, развивались быстро. Мистер Парсонс, по ее заявлению, сделал ей предложение год назад, но попросил об отсрочке до Нового года, в качестве причин таковой называя занятость, финансовые трудности, а также болезнь одного из членов своей семьи. На это пребывающая в разводе красотка будто бы согласилась и, уступив его пылким домогательствам, пошла на временное сближение до брака. Она утверждает, что с самого начала минувшего октября квартиру на Риверсайд-Драйв они за-

нимали совместно, а хозяин дома и жильцы соседних квартир знали их как «мистера и миссис Парсонс».

Когда приблизилось время женитьбы, мистер Парсонс, по утверждению госпожи Дэвис, попросил о еще одной отсрочке, до пасхи, ссылаясь на дальнейшие осложнения своих личных дел. На это она также согласилась, все еще не сомневаясь в серьезности его намерений. Однако в начале марта он выехал из квартиры, сказав, что его вызывают по делу в Бостон и через несколько дней он вернется. По словам госпожи Дэвис, с тех пор она его больше не видела и все ее попытки связаться с ним были безуспешны. Госпожа Дэвис утверждает, что в ответ на ее многочисленные послания мистер Парсонс три недели назад все-таки прислал письмо, в котором констатировал невозможность в настоящий момент заключить обещанный брак и предположил, что «для обеих заинтересованных сторон наиболее благоприятным выходом было бы все отменить».

Этого, как миссис Дэвис утверждает, она делать не хочет.

— Я так любила Вилли,— воскликнула она со слезами на глазах.— Бог свидетель, что я любила его самой глубокой, самой чистой любовью, какую только способна женщина испытывать к мужчине. И Вилли любил меня тоже, он и сейчас меня любит. Я это знаю. Я просто уверена в этом! Вы бы видели письма, которые он писал мне — у меня их буквально десятки хранятся вот здесь,— и она показала пачку писем, лежавшую у нее на столе, толстую, перевязанную розовой лентой,— более страстных и поэтичных писем никогда не писал ни один влюбленный,— объявила она.— Вилли всегда восхищал меня своей любовью — он был такой внимательный, нежный, романтичный — и всегда оставался истинным джентльменом! Я не могу его оставить! — заключила она со страстью.— Я не хочу, я не способна на это! Я люблю его несмотря на все, что произошло. Я все прощу, все забуду — только бы он ко мне вернулся.

Артистка подала иск о возмещении ущерба на сумму в сто тысяч долларов. Ее законным представителем является адвокатская контора Хоггенхаймера, Блауштайна, Глутца

и Леви, которая располагается по адресу: Бродвей, дом 111.

Мистер Парсонс широко известен как автор книг на темы религии. Согласно справочнику «Кто есть кто» он родился в городе Лима (штат Огайо) 19 апреля 1871 года, в семье преподобного Сэмюэля Абнера Парсонса и ныне покойной Марты Элизабеты Бушмиллер-Парсонс. Образование получил в университете Де-Пау, а позднее в Объединенной Богословской Семинарии. В 1897 году принял посвящение в духовный сан и в течение следующих десяти лет проповедовал с амвона сначала в Форт-Уэйне (Индиана), а потом в Поттстауне (Пенсильвания) и Элизабет (Нью-Джерси). В 1907 году оставил кафедру проповедника, чтобы целиком посвятить себя литературным занятиям. Одаренный бойким пером, он с самого начала оказался плодовитым писателем и быстро достиг успеха в этой области. Он является автором более двух десятков книг благочестивого содержания, причем некоторые из них выдержали не одно переиздание, а одна — путевые заметки под названием «Пешком по Святой Земле» — разошлась огромным тиражом не только в нашей стране, но и за ее пределами. Вот несколько других его работ, перечисленных в справочнике «Кто есть кто»: «Вослед за Господом» (1907); «Да вразумит меня слово Твое» (1908); «Утешители Иова»* (1909); «Кто следует Его стезей» (1910); «Ибо они Бога узрят»** (1912); «Иордан и Марна» (1915); «Армагеддон и Верден» (1917); «Христианство и полнота жизни» (1921); «Путем искушений» (1927); «Песнь Соломона» (1927); «Излияние Святого Духа» (1928).

Эту заметку Джеймс углядел, когда наклонялся отхлебнуть из чашечки кофе. Имя У. Уэйнрайта Парсонса бросилось ему в глаза и ослепило. Стукнула отставленная чашка. Джеймс принялся читать. Он не столько даже читал,

* Иов 16,2; 21,34. «Слышал я много такого: жалкие утешители все вы. ...Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь».

** Матфей 5,6. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».



Томас Вулф (1935)

сколько молниеносно пожирал глазами абзац за абзацем. Во весь опор неся по полосе, вырывая из нее разрозненные фрагменты — только то, что нужно! — пока не засиял перед ним ясный пламень истины. Затем, окончив чтение, целую минуту сидел неподвижно, с видом совершенно остолбенелым. Наконец он поднял развернутую газету в обеих руках, многозначительно хлопнул ею по столу, откинулся на своем массивном стуле и, устремив прямо перед собой невидящий

взгляд — куда-то вдаль, туда, где кончалась необъятная полированная ширь стола, — произнес медленно и очень раздельно:

— А — ч-черт — бы — меня — побрал!

Как раз в этот момент вошел Подлиза, принес овсянку, от которой валил густой пар, и раболепно придвинул хозяину тарелку. Джеймс от души плеснул в нее сливок, щедро закидал сахаром и яростно в нее вкопался. После третьей ложки он опять помедлил, поднял в одной руке газету, уставился было в нее, с нетерпеливым кряхтеньем отбросил, сунул в рот ложку овсянки, но в конце концов не сдержался — проклятая газета тянула к себе, завораживала, — взял ее, пристроил стоймя к кофейнику, так что обличительная статья оказалась прямо и точно перед его ледяными глазами, и перечитал — медленно, внимательно, пристально, слово за словом и запятую за запятой, а в промежутках между ложками горячей овсянки, ворчливо покряхтывая, невнятно, себе под нос, комментировал:

— «Я так любила Вилли...»

— *Вот дьявольщина!*

— «Вилли всегда восхищал меня своей любовью — он был такой внимательный, нежный, романтичный...»

— *Ах ты дрянь сладкоречивая, пакость двуличная!..*

— «Мистер Парсонс широко известен как автор книг на темы религии...»

Джеймс яростно вкопался в овсянку, проглотил.

— *На темы религии! Ххэ!*

— «Директор... церковной школы... при фешенебельной епископальной церкви святого Балтазара... в приходском управлении состоят... мистер Джеймс Уаймэн-старший...»

Джеймс застонал, схватил подлую газету, сложил ее и шмякнул на стол заметкой вниз. Подоспела яичница с ветчиной, и он злобно за нее принялся, ел в сосредоточенном молчании, время от времени нарушаемом лишь сердитым кряхтеньем. Когда Джеймс поднялся из-за стола, он снова был собран, его яркие голубые глаза опять были холодны и тверды как горный лед, а таящаяся в уголках рта едва за-

метная мрачная усмешка стала еще более колючей и едкой, еще более беспощадной, чем была когда-либо прежде.

Он бросил взгляд на газету, нетерпеливо хмыкнул, пошел к двери, помедлил, оглянулся, повернул назад, с кряхтением возвратился, поднял газету, сердито запихнул ее в карман и вышел в необозримый вестибюль. У наружной двери помедлил, взял котелок, плотно надел его на свою хорошо вылепленную голову — чуть-чуть небрежно, слегка набекрень, — сошел по ступенькам вниз, отворил невероятных размеров дверь, вышел на улицу и стремительно зашагал по ней, потом повернул налево, и вот он уже на Пятой авеню.

По одну сторону — парк, юная зелень деревьев; на улице движение все оживленнее, все гуще потоки транспорта, несущегося мимо; торопливые толпы народу; а прямо впереди слепящий жаркий блеск и неистовый город, утес за утесом, — и утро, сияющее утро на высотных башнях; и тут же некий престарелый господин, в глазах которого бушует ледяное пламя, — вот он идет, щеголевато и размашисто шагая под уклон в теснине улицы, буркая себе под нос:

— «Вослед за Господом»... Ххэ!

— «Да вразумит меня слово Твое»... Ххэ!

— «Путем искушений»...

Вдруг он выхватил сложенную газету из кармана, перевернул другой стороной и снова впился глазами в статью, сопоставляя даты. Прячущаяся в уголках рта едва заметная мрачная усмешка стала чуть мягче.

— «Песнь Соломона»!..

Усмешка стала шире, захватила все лицо, щеки порозовели, а старческие глаза так и лучились, когда он, по-прежнему пристально взглядываясь, перечитывал название последней упомянутой в статье книги.

— «Излияние Святого Духа»!..

Беспечным жестом он хлопнул себя сложенной газетой по бедру и, уже окончательно повеселев, себе под нос подхихикивая, пробормотал:

— Вот те и на! Не замечал я, чтобы этакое в нем таилось!

Содержание

- 5 *М. Ландор. Сжатая проза Вулфа*
- 19 *Возвращение блудного сына. Перевод М. Лорие*
- 50 *Чикамога. Перевод В. Бабкова*
- 76 *Портрет Баскома Хока. Перевод В. Харитонова*
- 141 *Гулливер. Перевод В. Бошняка*
- 157 **Нет двери. Перевод В. Голышева*
- 169 **Только мертвые знают Бруклин. Перевод М. Лорие*
- 176 *Издали и вблизи. Перевод Н. Буровой*
- 180 **Цирк на рассвете. Перевод Л. Васильевой*
- 186 *Бродяги на закате. Перевод М. Лорие*
- 191 *Солнце и дождь. Перевод М. Лорие*
- 198 *И странно время, как лесная тьма.
Перевод В. Бошняка*
- 215 *В парке. Перевод Е. Суриц*
- 229 *Лев утром. Перевод В. Бошняка*

Вулф Т.

В 88 Портрет Баскома Хока: Повесть, рассказы/ Пер. с англ. Сост. и предисл. М. Ландора.— М.: Известия, 1987.— 256 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Книга включает повесть «Портрет Баскома Хока», ставшую хрестоматийной на родине Вулфа и за ее пределами, и рассказы американского классика. Вулф смело сочетает в них разные стили: высокое и озорное, риторику и пародийность. Все они проникнуты одной мыслью — об Америке.

В $\frac{4703000000-049}{074(02)-87}$ 76—87

**ББК 84 7 США
И (Амер)**

ТОМАС ВУЛФ

ПОРТРЕТ БАСКОМА ХОКА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *Т. Иванова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голоосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1111

Сдано в набор 10.12.1986. Подписано в печать 20.05.87. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 21,1. Уч.-изд. л. 11,99. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1293. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», 103792, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Томас Вулф

(1900—1938) — американский романист и рассказчик, чья проза давно получила мировое признание. Особенно это относится к его эпическому циклу. Два романа — "Взгляни на дом свой, Ангел", начинающий этот цикл, и "Домой возврата нет", завершающий его, — широко известны и у нас.

Есть своя мировая судьба и у малой прозы Вулфа. Еще при жизни автора повесть "Портрет Баскома Хока" (1932) стала хрестоматийной в Европе. За одним причудливым, комически привлекательным образом южанина открываются грани национального характера и пережитые Америкой века. Весь творческий диапазон Вулфа-рассказчика высоко

ценится в сегодняшнем мире. Повести и тонкие миниатюры. Новеллы-сказы, столь различные по интонации, воскрешающие исторические времена ("Чикамога" и "В парке"). Новеллы, полные своеобразного юмора ("Гулливер") и другие, глубоко трагические ("И странно время, как лесная тьма"). Вулф смело сочетает в малом



жанре разные стили: высокое с озорным, риторическое с пародийным, — и все это, как в "Утре льва", бывает проникнуто острой мыслью об Америке. К его рассказам вполне относятся слова, сказанные о нем Томасом Манном: "Это был у вас в Америке один из самых сильных голосов".